Владимир Маяковский

Александр Блок

★ ПОЭМЫ

Эдуард Багрицкий

Демьян Бедный

МУЖЕСТВА

Сергей Есенин

Борис Корнилов

Владимир Луговской

Александр Твардовский

ПОЭМЫ МУЖЕСТВА

Центрально-Черноземное
книжное издательство
Воронеж — 1974 г.

Р2
П67

Текст печатается по изданиям: «Поэмы революции». Центрально-Черноземное книжное издательство, Воронеж, 1967; А. Твардовский. «За далью даль. Из лирики этих лет». М., «Советский писатель», 1970.

П $\frac{0742 - 046}{М161 (03) - 74}$ 52 — 74

Эдуард Багрицкий

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?

Т. Шевченко
(«ГАЙДАМАКИ»)

I

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.
Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесье чистом —
На дебелые хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядись толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести нечистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая:
— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,

Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!
Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!
Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?
— Штоль? Который, человече?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты..
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!
Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

. . . .

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!

Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украйна! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

II

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.
Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребячье мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь —бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота,
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным,
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стоном стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...

III

Хлеба собрано немного —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона:
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?
Падают ли овцы? —
В это время по дороге
Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брешут псы сторожевые,
Запевают певни.
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковною оградой
Лязгнуло железо:
— Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан! —
Хуторские псы, пляшите
На гремучей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой
Сизою, степною, —
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,

А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ
Коган,
Пожалуйте бриться!

IV

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня-Украина!..
На твоем степном раздолье
Сыромаха скачет,
Свищет перекати-поле
Да ворона крячет...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;
Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает...
Растеклось на белом теле
Солнце молодое.
— На, Панько. Когда застрелишь,
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Все же бывший продармеец,
Хороший знакомый!.. —
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
— За волами шел когда-то,
Воевал солдатом...
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом? —

И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе! Опанасе!
Катюга! Катюга! —
Верещит бездомный копец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело! —
И равнина волком воет —
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травою:
— Катюга! Катюга!.. —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:
Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стона
Подошла усталость,
Повернулся:
— Три патрона
В обойме осталось...
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом!.. —
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган:
— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!..
Тишина в степном раздолье, —
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,
Начал сваливаться на бок,
Падать понемногу...

От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

V

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский,
Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рожи гладки,
Поступь удалая,
Амуниция в порядке,
Как при Николае.
Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю.
Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогона,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
— Надобно с большевиками
Нам принять сраженье, —

Покрутись перед полками,
Дай распоряженье!.. —
Как батько с размаху двинул
По столу рукою,
Как батько с размаху грянул
По земле ногою:
— Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища!
Чтобы руки к пулеметам
Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!..

. . . .

Прыщут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брешут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим —
Смутно изголовье,
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой сонью,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим, —
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое...

VI

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень —
На чумацкие телеги,

На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...
Над конем играет шашка
Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи
От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
— Налетай, конек мой дикий,
Копытами двигай,
Саблей, пулей или пикой
Добудем комбрига!.. —
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа занялася,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами:
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..

. . . .

Опанасе, что с тобою?
Поник головою...
Повернулся, покачнулся,
В траву сковырнулся...
Глаз над левою скулою
Затек синевою...
Молча падает на спину,
Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!..

VII

Балта — городок приличный,
Городок — что надо.
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брынзе, в кавунах, в укропе
Звонок день базарный;
Голубей гоняет хлопец
С каланчи пожарной...
Опанасе, не гадал ты
В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малохольным;
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом;
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
— Гражданин, прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте без обмана,
Не испуга ради, —
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде?
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вмещалось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?..
— Что я знал: коня, подпругу,

Саблю да поводья!
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном громе,
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
Наворачивала удаль
В дым, в жестянку, в бога!..
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дороги...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!..

. . . .

Опанасе, наша доля
Туманом повита!..

VIII

Опанас, шагай смелее,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладоши не хлопнешь!
Пальцы дружные ослабли,
Не вытащат сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.
Что ты видишь?
Что ты слышишь?
Что знаешь? Чем дышишь?
Ночь горячая, сухая,
Да темень сарая.

Тлеет лампочка
под крышей, —
Эй, голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа,
И щеки из воска...
Улыбается сурово:
— Приятель, здорово!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!..
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога...

Эпилог

Протекли над Украиной
Боевые годы.
Отшумели, отгудели
Молодые воды...
Я не знаю, где зарыты
Опанаса кости:
Может, под кустом ракиты,
Может, на погосте...
Плещет крыжень сизокрылый
Над водой днестровской;
Ходит слава над могилой,
Где лежит Котовский...
За бандитскими степями
Не гремят копыта:
Над горючими костями
Зацветает жито.
Над костями голубеет
Непроглядный омут
Да идет красноармеец
На побывку к дому...
Остановится и глянет
Синими глазами —
На бездомный круглый камень,
Вымытый дождями.
И нагнется, и подымет
Одинокий камень:
На ладони — белый череп
С дыркой над глазами.
И промолвит он, почуяв

Мертвую прохладу:
— Ты глядел в глаза винтовке,
Ты погиб, как надо!..
И пойдет через равнину,
Через омут зноя,
В молодую Украину,
В жито молодое...

. . . .

Так пускай и я погибну
У Попова лога,
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..

СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

Грозою освеженный,
Подрагивает лист.
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашеная дверь.
Тоньше паутины
Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженых волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный,
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится

В подъязычье стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?
Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

— Валенька, Валюша!
Тягостно в избе.
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты,
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

На щеке помятой
Длинная слеза.
А в больничных окнах
Движется гроза...
Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.
Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Движется отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянье
Облачных слоев

Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер
Движутся отряды
На вечерний сбор.
Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу склоненная
Изнывает мать:
Детские ладони
Ей не целовать.
Духотой спаленных
Губ не освежить,
Валентине больше
Не придется жить.

Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла —
Чтоб было приданое,
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький,
Твой крестильный крест.

Пусть звучат постылые,
Скудные слова —
Не погибла молодость,
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом, —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость,
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь — на юру
Базовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Восклицает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!

Валя в синей майке
Отдает салют.
Тихо подымается,
Призрачно-легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука —
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Синее тепло.
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели,
Изнывает мать.

За оградой пеночкам
Нынче благодать.

Вот и все!

Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

Демьян Бедный

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний, на главный редут.
Главная Улица в панике бешеной:
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный, —
Мечется каждый, тревожно взволнованный
Гулом и криками, издали слышными,
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы, —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки! —
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
— Скорей!
— Скорей!
— Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут!
Духом одним с этой сволочью дышите?

— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они... Видите? Вот они, тут!..
— Идут!
— Идут!
С силами, зревшими в нем, необъятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, полыхавших над ним,
Из закоулков,
Из переулков,
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно взмётнув свои тысячи жилистых,
Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный
Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу Новый Хозяин,
Вышел — и все изменилося вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
— Это — мое!!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь, и питье, —
Это — мое!!
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — мое!!
Воем ответила Улица Главная.
Стал богатырь. Загражден ему путь.
Хищных стервятников стая бесславная
Когти вонзила в рабочую грудь.
Вмиг ощетинясь штыками и пиками,
Главная Улица — страх позабыт! —
Вся огласилася воплями дикими,
Гиком и руганью, стонами, криками,
Фырканьем конским и дробью копыт.
Прыснули злобные пьяные шайки

Из полицейских, жандармских засад:
— Рысью... в атаку!
— Бери их в нагайки!
— Бей их прикладом!
— Гони их назад!
— Шашкою, шашкой, которые с флагами,
Чтобы вперед не сбирались ватагами,
Знали б, ха-ха, свой станок и верстак,
Так их! Так!!
— В мире подобного нет безобразия!
— Темная масса!..
                    — Татарщина!..
                                        — Азия!..
— Хамы!..
            — Мерзавцы!..
                                — Скоты!..
                                        — Подлецы!..
— Вышла на Главную рожа суконная!
— Всыпала им жандармерия конная!
— Славно работали тоже донцы!
— Видели лозунги?
— Да, ядовитые!
— Чернь отступала, заметьте, грозя.
— Правда ль, что есть средь рабочих убитые?
— Жертвы... Без жертв,моя прелесть, нельзя!
— Впрок ли пойдут им уроки печальные?
— Что же, дорвутся до горшей беды!

Вновь засверкали витрины зеркальные.
Всюду кровавые смыты следы.
Улица злого полна ликования,
Залита светом вечерних огней.
Чистая публика всякого звания
Шаркает, чавкает снова на ней,
Чавкает с пошло-тупою беспечностью,
Меряя срок своих чавканий вечностью,
Веруя твердо, что с рабской судьбой
Стерпится, свыкнется «хам огорошенный»,
Что не вернется разбитый, отброшенный,
Глухо рокочущий где-то прибой!

Снова...
Снова.
Бьет роковая волна...
Гнется гнилая основа...

Падает грузно стена...
— На!..
— На!..
— Раз-два,
Сильно!..
— Раз-два,
Дружно!..
— Раз-два,
в ход!!
Грянул семнадцатый год.
— Кто там?
Кто там
Хнычет испуганно: «Стой!»
— Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?
— Кто там виляет умильно?
К черту господских пролаз!
— Раз-два, сильно!..
— Е-ще раз!..
— Нам подхалимов не нужно!
Власть — весь рабочий народ!
— Раз-два, дружно!..
— Раз-два, в ход!!
— Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!

. . . .

Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!

Эпилог

Петли, узлы — колеи исторической...
Пробил — второй или первый? — звонок.
Грозные годы борьбы титанической —
Вот наш победный лавровый венок!
Братья, не верьте баюканью льстивому:
«Вы победители! Падаем ниц».
Хныканью также не верьте трусливому:
«Нашим скитаньям не видно границ!»

Пусть нашу Улицу числят задворками
Рядом с Проспектом врага — Мировым.
Разве не держится он лишь подпорками
И обольщеньем, уже не живым?!

Мы, наступая на нашу, на Главную,
Разве потом не катилися вспять?
Но, отступая пред силой неравною,
Мы наступали. Опять и опять.

Красного фронта всемирная линия
Пусть перерывиста, пусть не ровна.
Мы ль разразимся словами уныния?
Разве не крепнет, не крепнет она?

Стойте ж на страже добытого муками,
Зорко следите за стрелкой часов.
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых боевых голосов!

Братья, всмотритесь в огни отдаленные,
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум:
Это резервы идут закаленные.
Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут
На последний всемирный редут!

Александр
Блок

ДВЕНАДЦАТЬ

I

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:

— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало,
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь —
двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.

Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керенки есть в чулке!

— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!

— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Елекстрический фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
    Да покручивает,
    Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
    Катьку-дуру обнимает,
    Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
    Ах, ты, Катя, моя Катя,
    Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

    Эх, эх, попляши!
    Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

    Эх, эх, поблуди!
    Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

    Эх, эх, освежи,
    Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,

С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Взводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,

. . . .

Как с девочкой чужой гулять!

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гугу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

7

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.

Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?
— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидава́ет,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
    Скука скучная,
    Смертная!

Ужь я времечко
Проведу, проведу...

Ужь я темечко
Почешу, почешу...

Ужь я семечки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
    Выпью кровушку
    За зазнобушку,
    Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

    Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга́, ой, вьюга́!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга́ пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Сергей
Есенин

АННА СНЕГИНА

1

«Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.
Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодью
Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку.
Но грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягот.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое —
Почти вся деревня вскачь

Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий, —
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.
На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар».

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.
Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись
с пушками,
Решил лишь в стихах воевать,
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу» [1], и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.

[1] «Липа» — подложный документ. (Прим. автора).

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смрадном огне
Тогда над страною
калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца!», «до победы!» —
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

* *

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово, —
Промолвил возница, —
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норов ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чаишко,
Вам к мельнику надо?
Так вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».

. . . .

Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный малый.
А малому тридцать лет.
«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток или штучек шесть —

Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника круты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.
«Откуда? Надолго ли?» —
«На год». —
«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец,
до черта,
Сама так под порох и прет.
Подумай ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...»

. . . .
. . . .

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар,
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были —
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2

«Ну, что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной...
Ей
Вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей».
Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки!
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала?»
И слышу сквозь кашель глухо:

«Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь неспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.
Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян.
И нагло в третьевом годе,
Когда объявили войну,
При всем честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...»
Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

Иду голубою дорожкой
И вижу — навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
«Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!

Сейчас! Дай поправить вожжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк!
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудак.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя, Анна,
Спросила:
— Не тот ли, поэт?
— Ну, да, — говорю, — он самый.
— Блондин?
— Ну, конечно, блондин!
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин!
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
«Ну, ладно. Прощай до обеда!
Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо бы роман.

* *

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!» —
«Э, охотник?!
Здорово, здорово!
Садись.
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?..
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать,
Дрожали, качались ступени,
Но помню

Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

3

На корточках ползали слухи,
Судили, решали шепча,
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар.
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, знать, спятил,
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.

. . . .

Ну, сядем.
Прошла лихорадка?

Какой вы теперь не такой.
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой,
Да...
Не вернуть, что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я очень любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...»

* *

Я слушал ее и невольно
Оглядывал стройный лик.
Хотелось сказать:
Довольно!
Найдемте другой язык!

Но почему-то, не знаю,
Смущенно сказал невпопад:
«Да... да...
Я сейчас вспоминаю...
Садитесь
Я очень рад.
Я вам прочитаю немного
Стихи
Про кабацкую Русь...
Отделано четко и строго,
По чувству — цыганская грусть».—
«Сергей!
Вы такой нехороший.
Мне жалко,
Обидно мне,
Что пьяные ваши дебоши
Известны по всей стране.
Скажите:
Что с вами случилось?» —
«Не знаю».—
«Кому же знать?» —
«Наверно, в осеннюю сырость
Меня родила моя мать».—
«Шутник вы...» —

«Вы тоже, Анна». —
«Кого-нибудь любите?» —
«Нет». —
«Тогда еще более странно
Губить себя с этих лет:
Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...
Не знаю, зачем я трогал
Перчатки ее и шаль.

. . . .

Луна хохотала, как клоун.
И в сердце хоть прежнего нет,
По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

* *

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник
И бегает, как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен:
«Придите.
Вы самый близкий.
С любовью
Оглоблин Прон».

Иду.
Прихожу в Криушу.
Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищалый народ:
«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной...
Р-раз — и квас!

Даешь, мол, твои угодья
Без всякого выкупа с нас!»
И тут же, меня завидя,
Снижая сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»—
«Конечно, ни жать, ни косить.
Сейчас я достану лошадь
И к Снегиной... вместе...
Просить...»
И вот запрягли нам клячу.
В оглоблях мосластая шкеть —
Таких отдают с придачей,
Чтоб только самим не иметь.
Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил:
В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
«Рыдай — не рыдай — не помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога...
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов,
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.
«Отдай!.. —
Повторял он глухо.—
Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова,
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе,
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...
Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы — жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенесть.
Как язвы, стыдясь оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

4

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.

Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник вовсю улыбается,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз — и квас!
Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны помочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!
Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуну
Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабутя,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наделил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом, хриплым и пьяным,
Тянул, заходя в кабак:
«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...»
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре

Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он,—
Петя!
Мне больно... Не думай,
что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:
«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»

. . . .

Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
«Даешь! Разберем потом!»
Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.

А мельник...
Мой старый мельник!
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то...
Тогда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была не права...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.
Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутыль...
Поэтому было не надо...
Ни встреч... ни вообще продолжать...
Тем более, с старыми взглядами
Могла я обидеть мать...»

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза,
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор...

. . . .

«Смотрите...
Уже светает?
Заря, как пожар, на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?..
Я понять не могу...
Ах!.. Да...
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцати лет...»
Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:

«Ну, ладно...
Пора на покой...»

. . . .

Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.
Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

5

Суровые, грозные годы!
Но разве всего описать?
Слыхали дворцовые своды
Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!
Цветение в далях!
Недаром чумазый сброд
Играл по дворам на роялях
Коровам тамбовский фокстрот.
За хлеб, за овес, за картошку
Мужик залучил граммофон,—
Слюнявя козлиную ножку,
Танго себе слушает он.
Сжимая от прибыли руки,
Ругаясь на всякий налог,
Он мыслит до дури о штуке,
Катающейся между ног.

Шли годы
Размашисто, пылко...
Удел хлебороба гас.
Немало попрело в бутылках
«Керенок» и «ходей» у нас.
Фефела! Кормилец! Касатик!
Владелец землей и скотом,
За пару измызганных «катек»
Он даст себя выдрать кнутом.

Ну, ладно.
Довольно стонов!
Не нужно насмешек и слов!
Сегодня про участь Прона
Мне мельник прислал письмо:
«Сергуха! За милую душу!
Привет тебе, братец! Привет!
Ты что-то опять в Криушу
Не кажешься целых шесть лет!
Утешь!
Соберись, на милость!
Прижваривай по весне!
У нас здесь такое случилось,
Чего не расскажешь в письме!
Теперь стал спокой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.
Расея...
Дуровая зыкь она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха...
С потехи такой — околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить!..»
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...»

* *

И вот я опять в дороге.
Ночная июльская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко, ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьми светляков.
По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Вот радость! Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!
Сергунь! Золотой! Послушай!

. . . .

И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам».—
«Подарок?» —
«Нет...
Просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок!
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!
Откуда же больше и ждать!
И почерк такой беспечный
И лондонская печать.
«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.

Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна...»

. . . .

Письмо как письмо.
Беспричинно
Я в жисть бы таких не писал.
По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокочет
Песнь.
Их было
26.
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было, 26.
Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
«Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет Азербайджан».

. . . .
. . . .

Ночь, как дыню,
Катит луну,
Море в берег
Струит волну.

Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.
Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,
18-й, несчастный
Год.
Тогда буржуа
Всех стран
Обстреливали
Азербайджан.

Тяжел был Коммуне
Удар.
Не вынес сей край
И пал,
Но жутче всем было
Весть
Услышать
Про 26.

В пески, что как плавленый
Воск,
Свезли их
За Красноводск,
И кто саблей,
Кто пулей в бок —

Всех сложили на желтый
Песок.

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-й
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плесень.
26 их было,
26.

. . . .

Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.
О них наша боль
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
«Джапаридзе,
Иль я ослеп,
Посмотри:
У рабочих хлеб.

Нефть — как черная
Кровь земли.

Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ.
Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял нас
Отряд англичан».

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
26 их было,
26.

. . . .

Свет небес все синей
И синей.
Молкнет говор

Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...
Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокочет
Песнь —
26 их было,
26.

Борис Корнилов

ТРИПОЛЬЕ

Памяти комсомольцев,
павших смертью храбрых
в селе Триполье

Часть первая

ВОССТАНИЕ

Тимофеевы

Пятый час.
Под навесом
снятся травы коровам,
пахнет степью и лесом,
холодком приднепровым.

Ветер, тучи развеяв,
с маху хлопает дверью:
Встань, старик Тимофеев,
сполосни морду зверью.

Рукавицами стукни,
выпей чашку на кухне,
стань веселым-веселым,
закуси малосолом.

Что теперь ты намерен?
Глыбой двинулся мерин,
морду заревом облил —
не запятишь в оглобли.
За плечами туманы,
за туманами страны —
там живут богатеи
многих наших лютее.

Что у нас?
Голодуха.
Подчистую все чисто,
в бога, в господа, в духа,
да еще коммунисты.

На громадные версты
хлеборобы не рады —
всюду хлеборазверстки,
всюду продотряды.

Так ли, этак ли битым,
супротиву затеяв,
сын уходит к бандитам,
звать Иван Тимофеев.
А старик Тимофеев —
сам он из богатеев.
Он стоит, озирая
приделы, сараи.
Все налажено, сбито
для богатого быта.
День богатого начат,
утя жирная крячет,
два огромных парня
в навозе батрачат.
Словно туша сомовья,
искушенье прямое,
тащит баба сыновья
в свинарник помои.
На хозяйстве великом
ни щели, ни пятен.
Сам хозяин, владыка,
наряден,
опрятен.
Сам он оспою вышит.
Поклонился иконам,
в морду мерину дышит
табаком, самогоном;
он хрипит, запрягая,
коммунистов ругая.
А хозяйка за старым
пышет гневом и жаром:
«Заскучал за базаром?» —
«Заскучал за базаром...» —
«Дурень! —
лается баба,
корчит рожу овечью... —
Постыдился хотя ба...» —

«Отойди! Изувечу!» —
«Старый пьяница, боров...» —

«Дура!» —
«...дерево, камень!
И всего разговоров,
что махать кулаками!
Что ты купишь?
Куренок
нынче тыщарублевый...
Горсть орехов каленых
да нажрешься до блева,
до безумья!..»
И баба,
большая, седая,
закудахтала слабо,
до земли приседая.

В окнах звякнули стекла,
вышел парень.
Спросонья
молодою и теплой
красотою фасоня
и пыхтя папиросой,
свистнул:

«Видывал шалых...
Привезем бабе роскошь —
пуховый полушалок...
Хватит вам барабанить,
запрягайте, папаня!»
Сдвинул на ухо шапку,
осторожен и ловок,
снес в телегу охапку
маслянистых винтовок.

Мерин выкинул ногу,
крикнул мерину: «Балуй!..
Выпил, крякая, малый
посошок на дорогу.

Тимофеев
берет на бога

Дым.
Навозное тесто.
Вонь жирна и густа.

Огорожено место
для продажи скота.

И над этой квашней
золотой и сырой
встало солнце сплошной,
неприкрытой дырой.

Брызжут гривами кони,
рев стоит до небес;
бык идет в миллионе,
полтора — жеребец.
Рубль скользит небосклоном
к маленьким миллионам.
Рвется денежка злая
в эту кашу, звонка,
с головой покрывая
жеребца и быка.

Но бычачья, густая
шкура дыбится злей,
конь хрипит, вырастая,
из-под кучи рублей.
Костью дикой и острой
в пыль по горло забит,
блекнет некогда пестрый
миллион у копыт.
И на всю Украину,
словно горе густое,
била ругань в кровину
и во все пресвятое.

В чайной чайники стыли,
голубые, пустые.

Рыбой черной и жареной
несло от буфета...
Покрывались испариной
шеи синего цвета.

Терли шеи воловьи,
пили мутную радость —
подходящий сословью
крестьянскому градус.

Приступая к беседе,
говорили с оглядкой:
«Что же.
        Это.
              Соседи.
Жить.
      Сословью.
                    Не сладко».
Парень, крытый мерлушкой,
стукнул толстою кружкой,
вырос:
«Слово дозвольте!»

Глаз косил весело.
Кольт на стол.
И на кольте
пальцы судорогой свело.

— Я Иван Тимофеев
из деревни Халупы.
Мой папаня присутствует
вместе со мной.
Что вы стонете?
Глупо.
Нужен выход иной.
Я, Иван Тимофеев,
попрошу позволенья
под зеленое знамя
собирать населенье.
К атаману Зеленому
вывести строем
хлеборобов на битву
и — дуй, до горы!
Получай по винтовке!
Будь, зараза, героем!
Не желаем коммуний
и прочей муры.

Мы ходили до бога.
Бог до нашего брата
снизойдет нынче ночью
за нашим столом.
Каждый хутор до бога
посылай делегата —
все послухаем бога,

нельзя без того.
Он нам скажет решительно,
надо ль, не надо ль
гнусно гибнуть под игом
и тухнуть, как падаль.
Либо скажет, что, горло
и сердце калеча,
под гремящими пулями
вырасти... выстой...
Отряхни, Украина,
отягченные плечи
красной вошью
и мерзостью красной...
нечистой...
Я закончил!»
И парень
поперхнулся, как злостью,
золотым самогоном
и щучьею костью.

Вечер шел лиловатый.
Встали все за столом
и сказали:
«Ну что же?»
«Пожалуй...»
«Сосватай...»
«Мы послухаем бога...»
«Нельзя без того...»

Бог

Бог сидел на скамейке,
чинно с блюдечка чай пил...
Брови бога сияли
злыми крыльями чайки.
Двигал в стороны хмурой
бородою из пакли,
руки бога пропахли
рыбьей, скользкою шкурой.

Хрупал сахар вприкуску
и в поту
и в жару,
ел гусиную гузку

золотую,
в жиру.

Он сидел непреклонно —
все застыли по краю,
а насчет самогона
молвил:
«Не потребляю...»
Возведя к небу очи,
все шепнули:
«Нельзя им!»
И поднялся хозяин
и сказал богу:
«Отче!
Отче, праведный боже,
поучи, посоветуй,
как прожить в жизни этой,
не вылазя из кожи?
На земле с нами пробыв,
укажи беспорядок...
Жи́ды в продотрядах
извели хлеборобов.
Жи́ды ходят с наганом,
дышат духом поганым.
Ищут чистые зерна!
Ой, прижали как туго!
Про Исуса позорно
говорят без испуга.
Нам покой смертный вырыт.
Путь к могиле короче.
Посоветуй нам, отче,
пожалей сирых сирот!..»
Бог поднялся с иконой
в озлобленье великом,
он в рубахе посконной,
подпоясанной лыком.
Все упали:
«Отец мой!»
Ужас тихий и древний...
Бог мужицкий, известный,
из соседней деревни.

Там у бога в молельнях
все иконы да ладан,
много девушек дельных
там работают ладом.

И в молельнях у бога
пышут ризы пожаром,—
богу девушек много
там работают даром.

Он стоял рыжей тучей —
бог сектантский, могучий.
Вечер двигался цвета
самоварного чада...
Бог сказал:
«Это, чадо,
преставление света.
Тяжко мне от обиды:
поругание, чадо,
ведь явились из ада
коммунисты и жиды.
Запирай на засовы
хаты, уши и веки.
Схватят,
клейма бесовы
выжгут на человеке.
И тогда все пропало:
не простит тебе боже
сатаны пятипалую
лапу на коже...»

Бог завыл.
Над народом,
как над рухлядью серой,
встал он, рыжебородым,
темной силой и верой.

Слезы, кашель и насморк —
все прошло.
Зол, как прежде,
бог ревел:
«Бейте на смерть,
рушьте гадов и режьте!
Заряжайте обрезы,
отточите железы
и вперед непреклонно
с бомбой черной и круглой,
с атамана Зеленого
божьей хоругвой...»

Гонец

Били в колокол,
песни выли...
Небо знойное пропоров,
сто кулацких взяли вилы,
середняцких сто дворов.
И зеленый лоскут, насажен
на рогатину, цвел, звеня,
и плясал от земли на сажень
золотистый кусок огня.
Вел Иван Тимофеев
страшную банду —
сто кулацких
и сто середняцких дворов,
увозили муку,
самогон
и дуранду,
уводили баранов, коней и коров.
Бедняки — те молчали,
царапая щеки,
тяжело поворачивая глаза,
и глядели, как дуло огнем на востоке,
занимались вовсю хутора и леса,
как шагали, ломая дорогу, быки
и огромные кони,
покидая село.
Но один оседлал коня
и на Киев
повернул его морду,
взлетая в седло.

Он качнулся в седле
и достигнул до света
убегающий город,
и в городе том
двухэтажный, партийного комитета,
широкоплечий,
приземистый дом.
Секретарь приподнялся, шумя листами,
и навстречу ему
седоватый, как лен,
прохрипел:
«Тимофеевы... гады... восстанье...

поводите коня —
потому запален!..»

И слова сквозь дыхание
в мокром клекоте
пробивались
и, сослепу рушась на локти,
подползали, дрожа,
тычась носиком мокрым,
к ножкам стульев,
столов,
к подоконникам,
к окнам.

Все забыть,
и, бескостно сползая книзу,
в темноте, огоньком синеватым горя,
разглядеть —
высоко идет по карнизу
и срывается слово секретаря:
«...мобилизация коммунистов...
...по исполнении оповестите меня...
...комсомол...
...караулы, пожалуйста, выставь...
...накормите гонца...
...поводите коня...»
Он ушел, секретарь.
Только будто на ладан
тяжко дышит гонец;
позабыв про беду,
ходят песни поротно,
бьют о камень прикладом,
свищет ветер,
и водят коня в поводу.

Описание банды Зеленого

Табор тысячу оглобель
поднял к небу
в синий день.
За Зеленым ходит свита,
о каменья — гром, копыта...
И, нарочно ли,

по злобе ль,
крыши сбиты набекрень.

Все к Зеленому с поклоном —
почесть робкая низка...
Адъютанты за Зеленым
ходят в шелковых носках.
Сам Зеленый пышен, ярок,
выпивает не спеша
до обеда десять чарок,
за обедом два ковша.

На телегу ставят кресло,
жбан ведерный у локтя —
атаманья туша влезла
на сидение, пыхтя.

Он горит зеленой формой,
как хоругвой боевой...
На груди его отличья,
под ногами шкура бычья,
по бокам его отборный
охранение-конвой
Он на шкуру ставит ногу,
и псаломщик нанизу
похвалу ему, как богу,
произносит наизусть.
Атаман глядит сурово,
он к войскам имеет слово:
«Вы, бойцы мои лихие,
необъятны и смелы,
потому что вы — стихия,
словно море и орлы.
На Москву пойдем, паскуду
победим —
приказ таков...
Губернаторами всюду
мы посадим мужиков.
От Москвы и до Ростова
водки некуда девать —
наша армия христова
будет петь и воевать.
Это не великий пост вам,
не узилище,
не гроб,

и под нашим руководством
не погибнет хлебороб.
Я закончил».

И ревом
он увенчан, как славой.
Жалит глазом суровым
и дергает бровью...
На телегу влезает
некто робкий, плюгавый,
приседает, как заяц,
атаману, сословью.
Он одернул зеленый
вице-полупердончик,
показал запыленный
языка легкий кончик,
взвизгнул, к шуму приладясь:
«Вы живительный кладезь,
переполненный гневом
священным, от бога...
В предстоящей борьбе вам
мы, эсеры, помога...»
И от края до края
табор пьяный и пестрый,
воют кони, пылая
кровью чистой и острой...

Анархист покрыт поповой
шляпой широкополой.
Анархисты пьянее
пьяного Ноя...
Вышла песня.
За нею
ходят стеною.
«Оплот всея России,
анархия идет.
Ребята, не надо властей!
И черепа на знамени,
облупленный рот
над белым крестом из костей.

Погибла тоска,
Россия в дыму,
гуляет Москва,
Ростов-на-Дону.

Я скоро погибну
в развале ночей.
И рухну, темнея от злости,
и белый, слюнявый
объест меня червь,
оставит лишь череп да кости.
Я под ноги милой моей
попаду
омытою костью нагою, —
она не узнает меня на ходу
и череп отбросит ногою.
Я песни певал —
молодой, холостой,
до жизни особенно жаден...
Теперь же я в землю
гляжу пустотой
глазных отшлифованных
впадин.
Зачем же рубился я,
сталью звеня,
зачем полюбил тебя, банда?
Одна мне утеха,
что после меня
останется череп...
и — амба!»

Часть вторая

ГИБЕЛЬ ВТОРОГО КИЕВСКОГО ПОЛКА

Второй киевский

Ни пристанища, ни крова —
пыль стоит до потолка,
и темны пути Второго
киевского полка.

Комиссар сидит на чалом
жеребце, зимы лютей,
под его крутым началом
больше тысячи людей.

Комиссар сидит свирепо
на подтянутом коне —

бомба, круглая, как репа,
повисает на ремне.

А за ним идут поротно
люди, сбитые в кусок,
виснут алые полотна,
бьют копыта о песок.

Люди разные по росту,
по характеру
и просто
люди разные на глаз —
им тоска сдавила плечи...
Хорошо, что скоро вечер,
пыль немного улеглась.
Люди темные, как колья,
и одна из этих рот —
все из вольницы Григорьева
подобранный народ.

Им ли пойманных бандитов
из наганов ночью кокать?
И не лучше ли, как раньше,
сабли выкинув со свистом,
конницей по коммунистам?
Кто поднимется на локоть
ломаным,
но недобитым —
бей в лицо его копытом!..

Вот она, душа лесная,
неразмыканное горе,
чаща черная,
туман.
Кто ведет их?
Я не знаю:
комиссар или Григорьев —
пьяный в доску атаман?

Шли они, мобилизованные
губвоенкоматом,
из окрестностей,
из Киевщины,
молоды,
темны...

Может, где завоют битвы, —
ихние отцы,
дома там,
новотельные коровы,
кабаны
и табуны?
Пчелы легкие над вишней,
что цветет красою пышной?
Парни в кованых тулупах,
от овчины горький дух,
прижимают девок глупых,
о любви мечтая вслух...

А в полку —
без бабы... вдовый...
нет любовей, окромя
горя,
ўстали пудовой
да колеса рвут, гремя,
злую землю,
да седая
пыль легла на целый свет.
Воронье летит, гадая:
будет ужин
или нет?

Комиссар сидит державой,
темный,
каменный с лица,
шпорой тонкою и ржавой
погоняя жеребца.
А в полку за ним нарядная,
трехрядная,
легка
шла гармоника.
За ней
сто четырнадцать парней.

Сто парней, свободы полных,
с песней,
с кровью боевой,
каждый парень, как
подсолнух,
гордо блещет головой.
Что им банда,

гайдамаки,
горе черное в пыли?
Вот и девушки, как маки,
беспокойно зацвели.

Комсомольские районы
вышли все почти подряд —
это в маузер патроны,
полный, считанный заряд.
Это цвет организации,
одно большое имя,
поднимали в поднебесье
песню легкую одну.
Шли Аронова,
Ратманский
и гармоника за ними
на гражданскую войну.
А война глядит из каждой
темной хаты —
вся в боях...
Бьет на выбор,
мучит жаждой
и в колодцы сыплет яд.
Погляди ее брюхату,
что для пули и ножа
хату каждую на хату
поднимает,
зло
визжа.
И не только на богатых
бедняки идут, строги,
и не только в разных хатах —
и в одной сидят враги.
Прилетела кособока.
Тут была
и тут была,
корневищами глубоко
в землю черную ушла
и орет:
«Назад вались-ка!»,
а вдогонку свищет: «Стой!»
Шляпою синдикалиста
черепок покрыла свой.
Поздно ночью, по-за гумнам,
чтобы больше петь не мог,

обернет тебя безумным,
расстреляет под шумок.
Всколыхнется туча света
и уйдет совсем ко дну —
ваша песня не допета
про гражданскую войну.

Ночи темны,
небо хмуро,
ни звезды на нем...
Кони двинули аллюром,
ходит гоголем Петлюра,
жито мнет конем.
Молодая, грозовая
тонкою трубой
между Харьков — Лозовая
ходит песня, созывая
конников на бой.
Впереди помято жито,
боевой огонь,
сабля свистнула сердито,
на передние копыта
перекован конь.

Впереди степные дали
и ковыль седа...
А коней мы оседлали.
Девки пели: «Не сюда ли?
Жалко, не сюда...»

Больше милую не чаю
вызвать под окно.
Может, ночью по случаю
по дороге повстречаю
Нестора Махно.

Черной кровью изукрашу,
жеребцом сомну,
за порубанную в кашу,
за поруганную нашу
верную страну.

Будет кровью многогрешной
кончена война,

чтобы пела бы скворешней,
пахла ягодой черешней
наша сторона.

Первое известие

Красное знамя ветром набухло —
ветер тяжелый,
ветер густой...
недалеко от местечка Обухова
он разносит команду «Стой!»

Синим ветром земля налитая —
из-за ветра,
издалека
восемь всадников, подлетая,
командира зовут полка.
Восемь всадников, избитых
ветром, падают с коней,
кони качаются на копытах,—
ветер дует еще сильней.

Командир с чахоточным свистом,
воздух глотая мокрым ртом,
шел навстречу кавалеристам,
ординарцы за ним гуртом.
И тишина.
И на целый на мир она,
кавалеристы застыли в ряд...
Самый высокий рванулся:
«Смирно!
Так что в Обухове кавотряд...» —
и замолчал.
Тишина чужая,
но, совладав с тоской и бедой,
каменно вытянулся, продолжая:
«...вырезан бандою».
И молодой,
саблей ветер рубя над собою,
падая,
воя:
«Сабли к бою!..
Конница лавою!..
Пленных не брать!..»

бился в пыли,
вставал на колени,
и клокотало в черной пене
страшное,
бешеное:
«Ать! Ать!»

Ночь в Обухове

Звали его Припадочным Ваней,—
был он высок,
перекошен,
зобат,
был он известен злобой кабаньей,
страшною рубкой
и трубкой в зубах.
В мягком седле,
по-татарски свисая
набок,
и эта посадка косая
и на кубанке — витой позумент...
Выше затылка мерцает подкова;
конь —
за такого коня дорогого
даже бы девушку не взял взамен,—
все приглянулось Ратманскому.
Тут же
и подружились.
Войдя в тишину,
песнею дружбу стянули потуже,—
горькая песня была,
про жену.
Ваня сказал:
«Начиная с германца
я не певал распрекрасней романса.
Как запою,
так припомню свою...
будто бы в бархате вся и в батисте,
шелковый пояс,
парчовые кисти,—
и перед ней на коленях стою.
Ой, постарела, наверно, солдатка,
легкая девичья сгибла повадка...
Я же, конечно, военный, неверный—

чуть потемнело,
к другой на постой...
Этак и ты, полагаю, наверно?»
Миша смеялся:
«А я холостой...»
Ночью в Обухове, на сеновале,
Миша рассказывал все о себе,
как горевали
и как воевали,
как о своей не радели судьбе.

Киев наряжен в пунцовые маки,
в розовых вишнях столица была,—
Киевом с визгом летят гайдамаки,
кони гремят
и свистят шомпола.
В этом разгуле, разбое, размахе
пуля тяжелая из-за угла,—
душною шкурой бараньей папахи
полночь растрепанная легла.

Миша не ищет оружья простого,
жители страхом зажаты в домах,
клейстера банка
и связка листовок...
Утром по улицам рвет гайдамак
слово — оружие наше...
Но рук вам
ваших не хватит,
отъявленный враг...
Бьет гайдамак
шомполами по буквам,
слово опять загоняя во мрак.

Эта война — велика, многоглава:
партия,
Киев
и конная лава,
ночь,
типография,
созыв на бой,
Миши Ратманского школа и слава —
голос тяжелый
и ноги трубой.

Ваня молчал.
А внизу на постое
кони ведро громыхали пустое,
кони жевали ромашку во сне,
теплый навоз поднимался на воздух,
и облачка на украинских звездах
напоминали о легкой весне.

Подступы к Триполью

Бой катился к Триполью
со всей перестрелкой
от Обухова — все
перебежкою мелкой.
Плутая,
тупая
от горки к лощине
банда шла, отступая,
крестясь, матерщиня.
Сам Зеленый с телеги
командовал ими:
«Наступайте, родимые,
водкою вымою...»
А один засмеялся
и плюнул со злобой:
«Наступайте...
Поди попытайся,
попробуй...»
А один повалился,
руки раскинув,
у пылающих,
дымом дышащих овинов.
Он хрипел:
«Одолела
сила красная, бесья,
отступай в чернолесье,
отступай в чернолесье...»
И уже начинались пожары в Триполье.
Огневые вставали, пыхтя, петухи;
старики уползали червями в подполье,
в сено,
часто чихая от едкой трухи.
А погода-красавица,
вся золотая,

лисьей, легкою шубой
покрыла поля...
Птаха, камнем из потной травы вылетая,
встала около солнца,
крылом шевеля.
Ей казались клинки
серебристой травою,
колыхаемой ветром...
А пуля — жуком,
трупы в черных жупанах —
землей неживою,
и не стоило ей тосковать ни о ком.
А внизу клокотали безумные кони,
задыхались,
взрывались
и гасли костры...

И Ратманский с Припадочным из-под ладони
на пустое Триполье
глядели с горы.

**Воронье гнездо —
Триполье**

Сверху видно — собрание
крыш невеселых,—
это черные гнезда,
вороний поселок.

Улетели хозяева
небом белесым,
хрипло каркая в зарево,
пали за лесом.

Там при лагере встали
у них часовые
на чешуйками крытые
лапы кривые.
И стоит с разговором,
с печалью,
со злобой
при оружии ворон —
часовой гололобый.

Он стоит — изваянье —
и думает с болью,
что родное Триполье
расположено в яме.
В яму с гор каменистых
бьет волна коммунистов.
И в Триполье с музыкой,
седые от пыли,
с песней многоязыкой
комиссары вступили.

При ремнях, при наганах...
Бесовские клички...
Мухи черные в рамах
отложили яички.
И со злости, от боли,
от мух ядовитых
запалили Триполье,—
и надо давить их.
И у ворона сердце —
горя полная гиря...
Он закаркал, огромные
перья топыря.
Он к вороньим своим
обращается стаям:
«Что на месте стоим, выжидаем?
Вертаем!..»
И они повернули к Триполью.

Смерть Миши Ратманского

Льется банда в прорыв непрерывно.
На правом
фланге красноармейцев
смятение, вой...
Пуля острая в морду
летящим оравам
не удержит.
Приходится лечь головой.

Это черная гибель
приходит расплатой,
и на зло отвечает
огромное зло...

И уже с панихидою
дьякон кудлатый
на телеге Зеленого
скачет в село.

А в селе из щелей,
из гнилого подполья
лезут вилы,
скрипит острие топора.
Вот оно,
озверелое вышло Триполье —
старики, и старухи, и дети:
«Ура!»

Наступает и давит семьею единой,
борода из коневьего волоса зла,
так и кажется —
липкою паутиной
все лицо затуманила и оплела.

А бандиты стоят палачами на плахе,
с топорами —
система убоя проста:
рвут рубахи с плеча,
и спадают рубахи.
«Гибни, кто без нательного
ходит креста!»

И Припадочный рвет:
«Кровь по капельке выдой,
мне не страшны погибель
и вострый топор...»
и кричит Михаилу:
«Михайло, не выдай...»
Миша пулю за пулей
с колена в упор.

Он высок и красив,
отнесен подбородок
со злобою влево,
а волос у лба
весь намок;
и огромный, клокочущий продых,
и опять по бандиту
с колена стрельба.

Но уже надвигается
тысяча хриплых:
«Ничего, попадешься...»
«Сурьезный сынок...»
Изумрудное солнце, из облака выплыв,
круглой бомбой над Мишею занесено.

Не хватает патронов.
Последние восемь,
восемь душ волосатых и черных губя.
И встает полусонный,
винтовкою оземь:
«Я не сдамся бандиту...» —
стреляет в себя.
И Припадочный саблей врубается с маху
в тучи синих жупанов,
густых шаровар —
на усатого зверя похож росомаху,
черной булькая кровью:
«За Мишу, товар...»
и упал.
Затрубили погибель трубою,
сабля тонкой звездою
мелькнула вдали,
голова его с поднятою губою
все катилась пинками
в грязи и в пыли.
Ночью пленных вели по Триполью,
играя
на гармониках «Яблочко».
А впереди
шел плясун,
от веселья и тьмы помирая,
и висели часы у него на груди,
как медали.
Гуляло Триполье до света,
все орало и метало,
гудело струной...
И разгулье тяжелое, мутное это,
водка с бабой —
тогда называлось войной.

ПЯТЬ ШАГОВ ВПЕРЕД

Коммунисты идут вперед

Утро.
Смазано небо
зарею, как жиром...
И на улице пленных
ровняют ранжиром.

Вдоль по фронту, несыто
оружьем играя,
ходит батько и свита
от края до края.

Ходит молча, ни слова,
не ругаясь, не спорясь,—
глаза черного, злого
прищурена прорезь.

Атаман опоясан
изумрудною лентой.
Перед ним секретарь
изогнулся паяцем.

Изогнулся и скалит
кариозные зубы,—
из кармана его
выливается шкалик.
Атаман, замечая,
читает рацею:
«Это льется с какою,
спрошу тебя, целью?
Водка — это не чай,—
заткни ее пробкой...»
Секретарь затыкает,
смущенный и робкий.

На ходу поминая
и бога и маму,
молодой Тимофеев
идет к атаману,

полфунтовой подковой
траву приминая;
шита ниткой шелковой
рубаха льняная.
Сапоги его смазаны
салом и дегтем,
петушиным украшены
выгнутым когтем.
Коготь бьет словно в бубен,
сыплет звон за спиною:
«Долго чикаться будем
с такою шпаною?»
И тяжелые руки,
перстнями расшиты,
разорвали молчанье,
и выбросил рот:
«Пять шагов,
коммунисты,
кацапы
и жиды!..
Коммунисты,
вперед —
выходите вперед!..»

Ой, немного осталось,
ребята,
до смерти...
Пять шагов до могилы,
ребята,
отмерьте.

Вот она перед вами
с воем гиеньим,
с окончанием жизни,
с распадом,
с гниеньем.
Что за нею?
Не видно...
ни сердцу, ни глазу...
Так прощайте ж,
весна, и леса, и снеги!..
И шагнули сто двадцать...
Товарищи...
Сразу...
Начиная, товарищи,

с левой ноги.
Так выходят на бой,
За плечами — знамена,
сабель чистое, синее
полукольцо.
Так выходят,
кто знает врагов
поименно...
Поименно —
не то чтобы только в лицо.
Так выходят на битву —
не ради трофеев,
сладкой жизни, любви
и густого вина...

И назад отступает
молодой Тимофеев,—
руки налиты страхом,
нога сведена.

У Зеленого в у́хе завяли монисты,
штаб попятился вместе,
багров и усат...
Пять шагов, коммунисты...
Вперед, коммунисты...
И назад отступают бандиты...
Назад.

Допрос

В перекошенной хатке
на столе беспорядки.
Пиво пенное в кадке,
огуречные грядки
и пузатой редиски
хвосты и огрызки.
Выпьют водки.
На за́кусь
бок ощипанный рыбий...
Снова потчуют:
«На-кось,
без дыхания выпей!»
Так сидят под иконой
штаб

и батько Зеленый.
Пьет штабная квартира,
вся косая, хромая...
Входят два конвоира,
папахи ломая.
«Так что, батько, зацапав
штук десяток за космы,
привели на допрос мы
поганых кацапов...»

Атаман поднимается.
«Очень приятно!»
по лицу его ползают
мокрые пятна.
Поднимается дьякон
ободранным лешим:
«Потолкуем
и душеньку нашу потешим...»
Комсомольцы идут
стопудовой стеною,
руки схвачены проволокой
за спиною.

«Говорите, гадюки,
последнее слово,
все как есть
говорить представляем самим...
Здесь и поп и приход,
и могила готова;
похороним,
поплачем
и справим помин...»
Но молчат комсомольцы,
локоть об локоть стоя
и тяжелые, черные губы жуя.
Тишина.
Только злое дыханье густое
и шуршащая
рваных рубах чешуя.
И о чем они думают?
Нет, не о мокрой
безымянной могиле,
что с разных сторон
вся укрыта
осеннею, лиственной охрой

и окаркана горькою скорбью ворон.
Восемнадцатилетние парни —
могли ли
биться, падая наземь,
меняясь в лице?
Коммунисты не думают о могиле
как о все завершающем
страшном конце.
Может, их понесут
с фонарем и лопатой,
закидают землею,
подошвой примнут —
славно дело закончено
в десять минут,
но не с ними,
а только с могилой горбатой.
Коммунисты живут,
чтобы с боем,
с баяном,
чернолесьем,
болотами,
балкой,
бурьяном
уводить революцию дальше свою
на тачанках,
на седлах, обшитых сафьяном,
погибая во имя победы в бою.

«Онемели?
Но только молчанье не выход...
Ну, которые слева —
еврейские...
вы хоть...
Вы — идейные!
вас не равняем со всеми;
Украину сосали,
поганое семя.
Все равно вас потопим
с клеймом на сусалах:
«Это христопродавец» —
так будет занятней...
Агитируйте там
водяных и русалок —
преходящее ваше, собаки, занятье».
И выходит один —

ни молений, ни крика...
Только парню такому
могила тесна;
говорит он,
и страшно, когда не укрыта
оголенная
черной губою
десна.

«Не развяжете рук
перебитых,
опухших —
не скажу, как подмога
несется в дыму...
Сколько войска и сабель,
тачанок и пушек...»
И Зеленый хрипит:
«Развяжите ему».
Парень встал, не теряя
прекрасного шика,
рукавом утирая
изломанный рот...
Перед ним — Украина
цветами расшита,
золоченые дыни,
тяжелое жито;
он прощается с нею,
выходит вперед.

«Перед смертью
ответ окончательный вот наш —
получи...»
и, огромною кошкой присев,
бьет Зеленого диким ударом
наотмашь,
и бросается к горлу,
и душит при всех.
Заскорузлые пальцы
все туже и туже...
Но уже на него
адъютантов гора,—
арестованных в угол загнали —
и тут же
в кучу, пулю за пулей,
часа полтора.

Конец Триполья

У деревни Халупы
обрывист, возвышен,
камнем ломаным выложен
берег до дна.
Небо крашено соком
растоптанных вишен,
может, час или два,
или три до темна.

Машет облака сивая
старая грива
над водой,
над горой,
над прибрежным песком,
и ведут комсомольцев
к Днепру до обрыва,
и идут комсомольцы
к обрыву гуськом.
Подошли, умирая,—
слюнявой дырой
дышит черная, злая
вода под горой.
Как не хочется смерть
принимать от бандита...

Вяжут по двое проволокой ребят.

Раз последний взглянуть и услышать:
сердито
мускулистые
длинные сучья скрипят.
Эти руки достанут еще атамана,
занося кулаков отлитые пуды,
чтобы бросить туда же,
в дыханье тумана,
во гниющую жирную пропасть воды.
Это вся Украина
в печали великой
приподнимется, встанет
и дубом и липой,
чтобы мстить
за свою молодежь,

за породу
золотую свою,
что погибли, смелы,
у деревни Халупы,
покиданы в воду
с этой страшной,
тяжелой
и дикой скалы.
Тяжело умирать,
а особенно смолоду,
додышать бы,
дожить бы,
минуту одну,
но вдогонку летят
пули, шмякая о воду,
добивая,
навеки пуская ко дну.
И глотает вода комсомольцев.
И Киев
сиротеет.
В садах постареет седых.
И какие нам песни придумать...
какие
о погибели наших
друзей молодых?
Чтобы каждому парню,
до боли знакома,
про победу бы пела,
про смерть,
про бои —
от райкома бы легкая шла
до райкома
и райкомы снимали бы
шапки свои.
Чтобы видели все,
как разгулья лесного,
чернолесья тяжелого свищет беда,
как расстрелянный Дымерец тонет
и снова,
задыхаясь, Фастовского
сносит вода.
Он спасется.
Но сколько лежит по могилам
молодых!
Не сочтешь, не узнаешь вовек.

И скольких затянуло
расплавленным илом
наших старых, неверных,
с притонами рек.
А над ними — туман
и гулянье сомовье,
плачут липы горячею
чистой росой,
и на месте Триполья
село Комсомолье
молодою и новой
бушует красой.
И опять Украина
цветами расшита,
молодое лелеет
любимое жито.
Парень — ласковый друг —
обнимает товарку,
золотую антоновку
с песней трясут.
И колхозы к свиному
густому приварку
караваи пшеничного хлеба несут.
Но гуляют покрытые волчьею
шкурой,
за Республику нашу
бои впереди.
Молодой Тимофеев
обернется Петлюрой,
атаманом Зеленым,
того и гляди.
Он опять зашумел,
загулял,
заелозил
атаман...
Украина,
уйди от беды...
И тогда комсомольцы,
винтовки из козел
вынимая,
тяжелые сдвоят ряды.
Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,

чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.

Владимир
Луговской

ПЕСНЯ О ВЕТРЕ

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая,
То чешской, то польской, то русскою речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет,
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.

Тайга говорит,
Главари говорят,—
Сидит до поры
Молодой отряд.

Сидит до поры
Стукочат топоры,
Совет вершат...
А ночь хороша!

Широки просторы. Луна. Синь.
Тугими затворами патроны вдвинь!
Месяц комиссарит, обходя посты,
Железная дорога за полверсты.

Рельсы разворочены, мать честна!
Поперек дороги лежит сосна.
Дозоры — в норы, связь — за бугры,—
То ли человек шуршит, то ли рысь.

Эх, зашумела, загремела, зашурганила,
Из винтовки, из нареза меня ранила.

Ты прости, прости, прощай!
Прощевай пока,
А покуда обещай
Не беречь бока.
Не ныть, не болеть,
Никого не жалеть,

Пулеметные дорожки расстеливать,
Беляков у сосны расстреливать.

Паровоз начеку,
ругает вагоны,
Волокет Колчаку
тысячу погонов.
Он идет впереди,
атаман удалый,
У него на груди —
фонари-медали.
Командир-паровоз
мучает одышка,
Впереди откос —
Паровозу крышка!

А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют:

«Россия, ты, Россия, российская страна,
Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо околесица, налево лабуда.

Дорога, ты, дорога, сибирский путь,
А хочется, ребята, душе вздохнуть.

Ах, сукин сын, машина, сибирский паровоз,
Куда же ты, куда же ты солдат завез?
Ах, мама моя, мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь.

Зачем мне, мальчишке, на жизнь начихать?
Зачем мне, мальчишке, служить у Колчака?!

Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо околесица, налево лабуда.

...Радио... говорят...
(Флагов вскипела ярь):
«Восьмого января
Армией пятой
Взят Красноярск!»

Слушайте крик протяжный —
Эй, Россия, Советы, деникинцы! —
День этот белый, просторный,
в мороз наряженный,
Червонными флагами выкинулся.

Сибирь взята в охапку.
Штыки молчат.
Заячьими шапками
Разбит Колчак.

Собирайте, волки,
Молодых волчат,
На снежные иголки
Мертвые полки
Положил Колчак.
Эй, партизан!
Поднимай сельчан:
Раны зализать
Не может Колчак.

Стучит телеграф:
Тире, тире, точка...
Эх, эх, Ангара,
Колчакова дочка!

На сером снегу волкам приманка:
Пять офицеров, консервов банка.
«Эх, шарабан мой, американка!
А я девчонка да шарлатанка!»
Стой!
Кто идет?
Кончено. Залп!!

КОМИССАР УСОВ

Посвящается моей матери

Журавли несутся над Союзом;
Слышу трубы отгремевших битв.
Комиссар Иван Степаныч Усов
У кронштадтской стенки был убит.

Он упал в холщовом балахоне
Под кронштадтской крепостной стеной,
Разжимая жесткие ладони,
Удивляясь тяжести земной.

И его засыпали в могиле
На краю отеческой земли,
И над ним высоко протрубили
Северные наши журавли.

И теперь уж не отыщешь места,
Где зарыт кумир курсантских рот,
Делегат Десятого партсъезда,
Выходивший на кровавый лед.

Но всегда, когда придет невзгода,
Слышу я тебя,
мой комиссар,
Ярославец,
Волжская порода,
Рыжеусый старый кочегар.

Слышу я тебя,
темна могила,
Но, гудя, как колокол на дне,
Вековечная земная сила
Глухо поднимается во мне.

Вместе голодали, вместе жили
На смоленских курсах, в закутке,
И январской ночью выходили
К молчаливой ледяной реке.

Звезды напряженные горели,
Страшная стояла тишина.

На великой снеговой постели
Только тень следов была видна.

И сказал однажды он:
«Прямая
Для меня дорога залегла.
С юности я в жизни уважаю
Правильные мысли и дела.

Горе-горькое хватил ковшами,
Страх изведал, муку перенес,
На Оке, на Волге и на Каме
Я скитался, молодой матрос.

Схоронил жену,
остались дети,
Сыновей волжанки сберегли.
Горького я видел на рассвете:
Он курил, смотрел на Жигули.

Родина, сторонка дорогая,—
До чего ж ты, Волга, хороша!
Белой чайкой, крыльями сверкая,
Над тобой летит моя душа.

Капитану я тогда потрафил,
Надрывался из последних сил:
Я шрифты подпольных типографий
В Нижний
из Самары
провозил.

Уголь шуровал, гулял немало,
В кандалах ходил — сбежал едва,
А меня Россия поднимала
Так, что закружилась голова.

И война снесла меня далеко —
В наш Балтийский знаменитый флот,
И январской ночью я до срока
К Зимнему привел рабочий взвод.

И с тогдашних пор,
в огне и дыме,

В гулевой пурге, в степной пыли,
Я кидался с вами, молодыми,
На четыре стороны земли.
Видела земля крутые годы:
Были войны,
                гибли города,
Но такого сильного народа
Не было на свете никогда.

Он какие переведал беды!
Правду сеял —
                и выходит жать.
От победы он пойдет к победе,
И ничем его не удержать.

Мне чинов и почестей не надо,
Только бы года неслись скорей,
Я людей из векового ада
Поднимать хочу, как сыновей.

Вот в казармах спят мои ребята,
В холоде,
                на голых топчанах.
Самая высокая награда
В молодых бойцах заключена,

Станут умирать —
                не будут трусы;
Выживут —
        припомнится, как встарь
На пехотных курсах правил Усов,
Беспокойный жилистый волгарь».

Он замолк и повернул обратно.
Проволока пела на столбах,
Да в полку далеком
                троекратно
Проиграла звонкая труба.

Дальняя полночная тревога,
Молодость, ушедшая навек,
И большая русская дорога
Возле зимних, онемелых рек.

К радости и счастью поднимая,
Ветром молодым пронзаешь грудь
Ты, дорога дальняя, прямая,
Многодумный комиссарский путь.

Жить ему да жить, не зная сноса:
Мастер был он жить и жизнь любил.
«Знайте! —
он твердил,—
что Ломоносов
Сто наук бесстрашно проходил.

Знайте! —
он твердил, —
настало время
Нашим людям расцветать и цвесть.
Мы гордиться будем перед всеми,
Что у нас такие люди есть.
Не затем страдал товарищ Ленин
В ссылке, в эмиграции, в тюрьме,
Чтобы нам,
и вам,
и вашей смене
Быть с Европой только наравне.

Мы такие узелки завяжем,
Что врагу вовек не развязать.
Мы такие чудеса покажем,
Что никто не в силах предсказать».

Мы ржаную кашу жадно ели —
Триста молодых голодных ртов,
Мы жевали рожь
и пламенели
От правдивых комиссарских слов.

Лучший наш наставник и учитель,
Чуть, бывало, говор поутих:
«Что же вы, товарищи, молчите?
Пойте песню, сочиняйте стих».

Сочиняли стих про кашевара,
Про Антанту или Колчака.
Он сидит,
измученный товарищ,

Дергается левая щека.
А порой расскажет про охоту,—
Речь его
красива и ясна.
Встанет и взволнованно заходит,
Вот она —
приволжская весна!..

Березняк покрыт жемчужным потом,
Все опушки в светлом серебре,
Кулики несутся над болотом,
И захоркал вальдшнеп на заре.

Нежная благоухает ива,
Месяц выгнул тонкие рога.
Утки пролетают торопливо
В тихие поемные луга.

И могучее дыханье бора
Льется от зари и до зари,
И токуют в праздничном уборе
На седом рассвете глухари.

Все леса, луга, поляны, воды
Говорят родимым языком.
Северная русская природа,
Первый, юный, перекатный гром.

Ты, земля, взяла в родное лоно
Старого и верного бойца.
Передай ему от нас поклоны,
Поклонись
от нашего лица.
Не забыть нам этот голос грубый,
Взор,
не унижавший никого,
Крупные смеющиеся губы,
Кругло говорившие
на «о».

Не забыть достоинства простого,
Скромности и честной прямоты,
Глаз, умевших поглядеть сурово,
Полных человеческой мечты.

Старые курсанты,
в ваши руки
Дал он сердце, рдевшее огнем.
Вы, по праву боевой поруки,
Поклянитесь не забыть о нем.

Пограничники,
бойцы,
балтийцы,
Берегите край родной земли,
Где лежит священный прах партийцев
И Кронштадт виднеется вдали!

Молодой товарищ,
ты не видел
Тех годов багровые огни,
Ты не будешь на судьбу в обиде,—
Грянет бой — ты будешь как они.

Если спросят, скажешь наотрез ты:
«Он таков, мой доблестный народ.
Он таков,
как делегат партсъезда,
Выходивший на кровавый лед».

Журавли несутся над Союзом,
Слышу битв решающий удар.
Здравствуй,
комиссар,
товарищ Усов!
Ты бессмертен,
старый комиссар!

САПОГИ

Мы заняли село без перестрелки.
Зеленые убрались восвояси,
Ничем не потревожив наш приход.
Все обезлюдело. И только возле церкви
Метавшаяся кучка мужиков
Тушила полыхавший дом Совета,
Да потихоньку открывались окна,

И первый босоногий байстрючок,
Как пуля, вылетел из подворотни.

Отряд входил нестройными цепями,
Просачиваясь между черных бань,
Весенних огородов и сараев.

Он сформирован был молниеносно
Из горстки коммунистов, полуроты
Обученных за сутки комсомольцев,
Мобилизованных по разным
учрежденьям
Уездного глухого городка,
Сотрудников Уездвоенкомата,
Командировочных (среди таких был я),
Ну, словом, абсолютный ералаш,
Смешение одежд и настроений.

Но, несмотря на эту пестроту,
Отряд с успехом дрался под Яновкой,
Погнал зеленых, захватил село
И получил недюжинную спайку.
Бандиты отбивались очень вяло
И отходили в сторону лесов.

Весна посвистывала, словно дрозд,
Укрытый тихолистным шумом клена.
Курился еле ощутимый зной.
Изба Совета весело пылала,
Бросая в небо кругловатый дым.
Проехали двуколки.
Наблюдатель
С биноклем поднялся на колокольню.
Пожалуй, в жизни я еще не слышал
Такой невероятной тишины,
В которой стук приклада, лязг манерки
И голос командира
отдавались
По нервам оглушительной волной
И долго колебались и звучали,
Как будто воздух нажимал педаль
Огромных резонаторов пространства.
Я только что собрался закурить,
Как ротный закатил меня в разведку
Через лесочки, прямо от села,

По направленью к маленькой усадьбе.
Со мною был назначен очень тихий,
Сознательного вида человек,
В зеленой аккуратной телогрейке,
Безбровый, по фамилии Светлов
Или Белов, а может быть и Солнцев —
Я раньше плохо примечал его.
Мы боковушками пересекли село
И начали спускаться с косогора.

На середине этого пути
Товарищ виновато улыбнулся,
Откашлялся и сдержанно сказал:
«Позвольте познакомиться: Белов
Илья Фомич, сотрудник Начэвака,
То есть начальник Эвакопункта. —
Потом излишне весело добавил: —
И вечный, неоконченный студент».
Мы перекинулись случайными словами,
Ныряя в лабиринте загородок
И нескончаемых косых плетней.
Потом перебежали через выгон
И, тяжело дыша, остановились
У первых разнаряженных берез.
Вдруг я заметил, что Белов дрожит.
«Что с вами?»
　　　　　　　　«Очень плохо!»
　　　　　　　　　　　　　　«Почему?»
«Нервишки заиграли!»
　　　　　　　　　　　　　　Он потрогал
Вспотевший лоб и зашагал вперед.
Леса вокруг совсем остекленели,
Купаясь в тишине и синеве.
Листва роилась медленным жужжаньем,
Калина зацветала горьким цветом,
И ландыши стояли в муравах
На тоненьких своих граненых ножках.
Повсюду разливался светлый звон,
И, трепеща на побуревших ветках,
Десятки зябликов вели поочередно
Свою простую песенку-вопрос.

«Какая прелесть», — бормотал Белов,
Качая головой и спотыкаясь.
Мы углубились в рощу. Он опять

Остановился.
«Не могу!»
«Чего не можете?»
«Я заболел!»
«Пустое, подтянитесь!»
«Ей-богу, не могу. Зачем все это?»
«Что?»
«Мерзость! Гибель! Смерть!»
«Да вы рехнулись?!»
«Мне нужно главное почувствовать во всем.
Зачем березы, если я подохну?
А вдруг конец? Я одинок, поймите!»

«Послушайте, Белов, — сказал я злобно, —
Довольно врать. Немедленно вперед!»
И к моему большому удивленью,
Сотрудник Начэвака устремился,
Опередив меня, в лесную глушь.
Он судорожно дергал головой
И был нелеп в зеленой телогрейке.
Наверно, псих! Мне стало жаль его,
А сердце неприятно колотилось:
«Ну, если попадусь, так пропаду,
С таким товарищем далеко не уедешь».

Сквозь молодые папоротники, в полумгле
Сырых стволов мы вышли на дорогу,
Которая нас привела к ручью.
И мне послышался как будто конский топот,
Чуть внятно налетавший издалека,
И выстрелы, один, другой и третий.
Мы бросились в густейшие кусты
И залегли.
Ручей легко плескался,
Текла его особенная жизнь.
Шныряли плавунцы, жучки-вертячки,
И нежно-голубая стрекоза
Как угорелая носилась перед носом.
А сколько солнечных качающихся
пятен,
Гуденья, звона, шелеста осоки
И бестолковой пляски комаров!
Казалось, мы случайно проникали
В какую-то осмысленную тайну
Вольнолюбивых жителей ручья.

Я покосился вправо и увидел
Бледно-зеленое лицо Белова,
Пересеченное дрожащей веткой.
«Товарищ! — прошептал он. — Посмотрите.
Вот самое большое в мире счастье —
Такой ручей и эта мелюзга».
Я не ответил. Шепот продолжался:
«Вы рассердились на меня, товарищ?
А мне — вы слышите — мне ничего не нужно,
Вот только бы лежать, смотреть и слушать,
Как жизнь творится где-нибудь в лесу,
И понимать, зачем она творится».
Тут я не выдержал:
«Да вы в разведке!
Вы что, толстовец?»
«Слушайте, товарищ,
Мы говорим на разных языках.
Бандиты — сволочи, я это понимаю,
Но главное-то, главное не в том».
«А в чем?»
«В сознанье человека.
Я не хочу участвовать в игре,
Отказываюсь. Мне ничего не нужно,
Ни денег, ни имущества, ни чести,
И у меня нет абсолютно ничего.
Я голый человек. Я буду жить!»
Теперь все было беспредельно тихо,
Но следовало малость обождать.
«Вы струсили!»
«Товарищ, я не трушу.
Но это ведь бессмыслица!
Убьют.
Кого? Меня. Меня! За что? Не знаю.
А я — да это всеобъемлющая жизнь;
Убьют меня — и сразу все потухнет,
И вас не будет, и жуков, и леса.
Ведь вы же существуете во мне.
Не понимаете?»
«Не понимаю!»
«Жалею вас, товарищ!
Я биолог,
Я изучаю каждый шаг природы,
Я, может быть, открою что-нибудь.
Я не обманывал. Я никогда не лгал.
Мне органически чужда неправда,

Поэтому я честно говорю,
Что смысл всего — у этого ручья.
И человечеству вполне довольно
Цветов боярышника и стрекоз.
Эх, только бы глаза умели видеть!
Смотрите! Вон купается синица!»
Действительно, синица трепыхалась
У заводи, величиной с ладонь.
И что поделать — я залюбовался,
Потом сердито выругался и вскочил,
Спугнув комочек разноцветных перьев.

«Вставайте, господин биолог, марш вперед»!
Белов поднялся, отряхнул коленки:
«Вы думаете, я боюсь? Глядите —
Я буду первым. Умирать так умирать!»
И, осторожно раздвигая ветки,
Со мною вместе вышел на дорогу,
Которая приветливо петляла
В прекрасном мире птиц и ветерков.
Деревья поредели, разбежались.
Опушка зарябила юным солнцем.
Я увидал какую-то ограду,
Непаханое поле или луг.
Мы поползли вдоль светлых перелесков,
Где нежились прохладные фиалки,
И разглядели наконец усадьбу,
Распахнутые старые ворота,
Верхушки крыш и розовый туман
Черешен, закипающих цветами.

Все это было нестерпимо мирно,
Загадочно, до тошноты спокойно,
Манило двойственным противоречьем
Опасности и полной тишины.
А впереди меня сидела елка,
Как маленький зеленый медвежонок.
Она могла вконец свести с ума —
За нею начиналась неизвестность.

«Я убегу сейчас! — хрипел Белов. —
Товарищ, для чего такая мука?!»
Он выкатил огромные глаза,
Подернутые сладострастной пленкой.
«Я — жизнь! А что такое Я?

Я... Я... Я... Я...
Белов... Белов... Белов...
Илья Белов... Илья Белов... Илюша!»
И, еле слышно завизжав «ура!»,
Поймав штыком пронзительное солнце,
Белов рванулся прямо через поле,
Потом упал и выстрелил в забор.

Как страшно прокатился этот выстрел.
Я выдвинул винтовку и застыл,
Считая неизбежные секунды.
Ни звука. Ни души. Одна весна.
И, сосчитав до двадцати пяти,
Я подошел к Белову. Он лежал,
Прикрыв лицо, но быстро встрепенулся,
Побрел за мной, слащаво улыбаясь,
И даже потихоньку засвистел.

Я заглянул в ворота — никого!
Следы подков и облака черешен.

Белов меня ударил по плечу:
«Товарищ, вы, надеюсь, убедились,
Вы поняли, что умный человек
Способен на геройские поступки.
Я отрицаю смерть, но силой жизни
И силой личности могу преодолеть
Неодолимые для вас преграды.
Я — мир в себе, а вы — пустая схема!»
Не слушая его, я пробирался
По саду,
и веселый цвет черешен,
Как стая бабочек, летал вокруг меня.
Огромный двор был побежден ромашкой,
Навстречу нам неслись пустые окна
И развороченные доски крыш.
В траве лежала стреляная гильза,
Вторая звякнула под сапогами,
А третья золотилась возле трупа,
Сидевшего перед гнилым крыльцом
И прислоненного спиной к ступенькам.

Две раны в голову и третья — ниже горла.
На лбу и на груди темно алели

Красноармейские большие звезды,
Прорезанные опытной рукой.
И пять лучей эмблемы коммунизма
Сияли медленным кровавым соком,
Стекавшим на прогнившее крыльцо
Помещичьей разгромленной усадьбы.

Убитый был в защитных шароварах,
Босой и худощавый. Он глядел
Непотухавшими глазами в небо,
И в каждом наблюдающем зрачке
Стояла точка солнечного диска.
Белов затрясся, взял под козырек
И отошел, безудержно икая.
Я снял фуражку.
                    На крутых перилах
Топорщилась записка. Я прочел
Старательную надпись:
                    «Комиссарам,
Жидам и прочим вот такой конец!».
Восьмиконечный крест и завитушка.

Дом был ужасен, как прокисший гроб.
В углах и на порогах затвердели
Чернеющие кучи нечистот.
Под потолком раскачивались клочья
Пятнистых, покоробленных обоев —
Остатки лир, овечек или роз.
В простенке между окон уцелела
Большая фотография толстушки
С кораллами на выпуклых грудях.
Какой-то весельчак подрисовал
Под фотографией живот и ноги
С большим непониманием натуры.
Рисунок был спокойно подтвержден
Обычным русским непечатным словом.

Вошел Белов. Он громко заявил:
«Какое отвратительное место!
Подумать только, что судьба могла бы
Мне прописать такую же пилюлю.
Нет, я считаю, что убитый не сумел,
Не захотел от смерти отказаться.
Всегда возможно что-нибудь придумать,
Поговорить с противником, осмыслить,

Разубедить его — он тоже человек.
Я лично опасаюсь слепоты:
Страшна случайная, бессмысленная пуля».

Две комнаты, где ночевала банда,
Немного походили на жилье.
Здесь были сделаны корявые кровати
Из досок и чурбанов.
                                        На одной
Лежало что-то вроде одеяла.
Воняли тряпки. Самодельный стол
Хранил следы обильных возлияний.
Валялись позабытые обоймы,
На месте зеркала в громадной раме
Сверкал единственный косой осколок,
Взлетевший, как серебряная сабля.
В нем я увидел полспины Белова,
Нагнувшегося около кровати,
Потом зеленый вещевой мешок...
Я слышал сзади затихавший шорох
И сделал вид, что разбираю вслух
Чудовищные надписи на раме,
А в зеркале мелькнули сапоги,
Коричневые, новые, лихие,
На глянцевитой, девственной подошве.
Я шелохнулся. Сапоги пропали...
Белов задвинул что-то под кровать...
«Ну как? —
                    спросил он хриплым баритоном.—
Идем?»
            Я начал громыхать
В соседней комнате, украдкой наблюдая,
Как появились снова сапоги
В мерцанье незапятнанных подметок,
Секунду продержались и исчезли,
Закрытые зеленой телогрейкой.
«Вы что-нибудь нашли?»
                                        Он появился
Заметно пополневший и румяный,
Завязанный на все свои тесемки:
«Нет... ничего!»
                            «Тогда пора обратно!»
Я захватил с кровати одеяло,
Чему Белов ехидно усмехнулся
И, проходя со мной по анфиладе

Угрюмых комнат,
начал горевать:
«Товарищ, здесь когда-то жили люди,
Веселое, счастливое семейство.
По вечерам, собравшись на веранде,
Они уютно распивали чай,
И ложечки приветливо звенели...
Черешни осыпались...
И по саду
Шла девушка в домашнем сарафане,—
Вот хоть бы эта!
Где теперь она?
Все преходяще. Суета сует.
И только голый будет вечно счастлив!»

На солнечном узорчатом крыльце
Мертвец смеялся неподвижным смехом
Последнего, предельного страданья.

Я взял его раскинутые руки
И с помощью Белова перенес
Большое тело в сторону от дома.
И положил его в густой траве,
Закрыл до подбородка одеялом
И удивился страшному простору,
Застывшему в его седых глазах
Под бременем звезды окровавленной.

Белов нарушил краткое молчанье:
«Спи, дорогой товарищ, спи спокойно!
Ты заслужил себе великий отдых...»
Растроганно вздыхая и конфузясь,
Он показал мне поднятую гильзу
И пояснил: «На память о разведке!»
Мы вышли из ворот.
Черешни скрыли
Безглазый дом и страшное крыльцо.
Следы подков шли по дороге влево,
Я, судя по всему, тогда решил,
Что здесь совсем недавно проходили
Пятнадцать-двадцать всадников, не больше.

Мы шли назад по старому пути.
Чуть вечерело. Легкий синий воздух,

Пронизанный тончайшими лучами,
Едва касался воспаленных щек.
Брюзжал комар, и елка-медвежонок,
Не шевелясь, сидела вдалеке.
Я чувствовал удушливую злобу,
Катившуюся, словно кипяток,
От головы до ног, от сердца до коленей
И снова возвращавшуюся вспять.
Лицо убитого, черешни, звезды, гильзы,
Глухие выстрелы, лихие сапоги
Метались в серых разветвленьях мозга,
И эту мглу, как сабля, разрубил
Косой осколок в почерневшей раме.
Нечистый дух взял за язык Белова.
Он говорил с огромным облегченьем
О личности, о счастье, о свободе,
О бесполезности людских страданий,
О героизме и борьбе со смертью,
О прелести закатов и берез,
О слове «я» во всем его объеме,
О голом человеке Диогене
Или Гогене — я не разобрал,—
Который жил на острове, в кадушке,
И ничего на свете не хотел.

Он говорил, кивая головой,
Придерживая полы телогрейки
И трепетно косясь по сторонам.

Меня качал щетинистый озноб,
Морозная, сухая лихорадка.
Я увидал кровавую звезду,
И струйки крови на гнилых ступеньках,
И наш отряд, и красный дым пожара.
И эту кровь с размаху разрубил
Косой осколок, выгнутый, как сабля.
Я задрожал. Мы были у ручья,
И серенькая птичка пролетела
Наискосок.
Я вспомнил про синицу,
И жгучий стыд прошел через меня.
«Белов! —
сказал я тихо и невнятно.—
Отдайте сапоги!»
Потом ударил

Глухим прикладом об землю:
«Белов,
Отдайте сапоги!»
Он дико глянул
И прошептал:
«Какие сапоги?»
«Которые вы взяли под кроватью...»
«Я ничего не брал!» —
«Отдайте сапоги...» —
Хотел я повторить, но задохнулся.
«Бандит!» —
визгливо закричал Белов
И стал тихонько поднимать винтовку.
Я сразу сделал два шага назад,
Спустил предохранитель.
Было слышно
Прохладное журчание ручья,
Я никогда не видел в человеке
Такой унылой ненависти.
Молча
И медленно он опустил винтовку,
Рванул тесемки, расстегнул ремень
И бросил на дорогу сапоги —
Коричневато-огненную пару.

Мы оба оглядели каблуки
Высокого и чистого рисунка,
Широкий рант, литые голенища
И матово-зеркальное шевро,
Подбитое к нехоженым подметкам —
Изделье острых и способных мастеров.

И тут в глазах моих пошли круги —
Я разорвал сияющую кожу —
С размаху засадив летящий штык
В коричневую ногу голенища.
Я раскромсал головки и подошвы.
Штыком я поднял рваные ошметки,
Похожие на околевших кошек,
И далеко забросил их в ручей...

Все прояснилось. Чистая гряда
Вечерних облаков плыла над лесом.
Он широко, протяжно шелестел,
Наполненный одной звенящей песней.

Я быстро шел среди ветвей и песен,
Ни жалости, ни злобы, ни презренья
Я не испытывал к побитой твари,
Ползущей скорбно по моим следам.
Она была и ни жива и ни мертва
И повторяла голосом Белова:
«Товарищ, вы меня не убедили,
Мы говорим на разных языках!..»

Владимир Маяковский

ХОРОШО!

Октябрьская поэма

1

Время —
вещь
необычайно длинная, —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,

как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не наймем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.
Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...» —
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —

Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...
Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!
Бей!!»

То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.
В деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
— На что им
сбор
болтунов
дался?! —
И отдавали
большевикам

гроши,
и силы,
и голоса.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, —
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —

3

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели,
Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы,
и партии,
идет
на дежурную речь.

Глаза
у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.

Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»

В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если ж
с безработы
загрустится,

сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.

И вновь
возвращается,
сказанув,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.

«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...,
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!

Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу».
Пришит к истории,
пронумерован
и скрéплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
Синё и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
волòс
пожелтелые стружки
причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, велико.
Ее
утешает
усастая няня,

видавшая виды, —
Пе Эн Милюков.
«Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно
да сядь ко мне».
— Кускова,
что с тобой? —
«Мне скушно...
Поговорим о старине».
— О чем, Кускова?
Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишкой хилым, —
короновала б
Михаила.
Чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! —
«Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова...»
— Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...

Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт... —
«Я не больна.
Я...
знаешь, няня...
влюблена...»
— Дитя мое,
господь с тобою!
И Милюков
ее с мольбой
крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету. —
«Я влюблена», —
шептала
снова
в ушко
профессору
она.
— Сердечный друг,
ты нездорова. —
«Оставь меня,
я влюблена».
— Кускова,
нервы, —
полечись ты... —
«Ах, няня!
он,
такой речистый...
Ах, няня-няня!
няня!
Ах!
Его же ж
носят на руках.
А как поет он
про свободу...
Я с ним хочу, —
не с ним,
так в воду».

Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
«Саша! —
Душка!»
Смахнувши слезы
рукавом,
взревел усастый нянь:
— В кого?
Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...»
— В какого?
В Сашку? —

И от признания
такого
лицо
расплылось
Милюкова.
От счастия
профессор ожил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!
При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. —
Быть может,
на брегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.

«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, —
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конешно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положенье беря,
это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
— эй,
наваксь
щиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —
И конешно —
к матушке,
а он меня
к моей,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!»
«Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.

Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конешно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и аге́нты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбиро́ванном!»
«С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено».
«Ленина,
который смуту сеет,
председателем,
што ли,
совета министров?

Что ты?!.
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправься!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова

благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого,
какого-то
бесштанного
Левки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи́ —
повыпускаем
им
потроха...»
И все адъютант
— ха да хи —
Попов
— хи да ха. —
«Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал
Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон...»
И всё стаканами —
дон и динь,
и шпорами —
динь и дон.
Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники
бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова

подымались
из подвалов.
«Я,
то̀варищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
то̀ка-то́ка.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока
соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.
Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют
с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем
беру телефон, —
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон

из тела
        пролетарскую душу.
С а м
    приехал,
            в пальтишке рваном, —
ходит,
    никем не опознан.
Сегодня,
        говорит,
                подыматься рано.
А послезавтра —
                    поздно.
Завтра, значит.
                Ну, несдобровать им!
Быть
    Керéнскому
                биту и ободрану!
Уж мы
    подымем
                с царёвой кровати
эту
  самую
    Александру Федоровну».

6

Дул,
  как всегда,
            октябрь
                        ветрáми,
как дуют
        при капитализме.
За Троицкий
            дули
                авто и трамы,
обычные
        рельсы
            вызмеив.
Под мостом
        Нева-река,
по Неве
        плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
    Зимнему шататься.

В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
«В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..»
Видят
редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,

как будто
руки
сошлись на горле,
холеном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.

Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
начали...
ба́ловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм».

Но тень
боролась,
спутав лапы, —
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —

уходил
от испуга,
от нервá.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Кéренский —
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебеля́х
с бронзовыми вы́крутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос — редок.

Шепотом,
знаками.
— Ке́ренский где-то? —
— Он?
За казаками. —
И снова молча.
И только
по́д вечер:
— Где Прокопович? —
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста́,
как смерть
глядит
неласковая
Аврорьих
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она

рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взвйлся
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворвáлись.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.

Как будто
водою
комнаты пòлня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями óранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,

а над ним
путиловец —
нежней папаши:
«Ты,
парнишка,
выкладай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!»

Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
— Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулу́пы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
«Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время».

И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».

А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет... —
пели:
— и это есть
наш последний... —

До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
в Смольный».

Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
грани штыков,

бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры́.
Сумрак
на мир
океан катну́л.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов —
непрерывная буря.

На воду
сумрак
похож и так —
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты́.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка́,
с испугу
или со льда́,
ладони
держа
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».

Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотёку в усадьбе».
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!

Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь.
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!
Жир
ёжь

страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.

Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.

Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!

До-
шло
до поры,
вы-
хо-
ди,
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.

Чем
  хуже
    моя Нина?!
Ба-
  рыни сами.
Тащь
  в хату
    пианино,
граммофон с часами!
Под-
  хо-
    ди-
      те, орлы!
Будя — пограбили.
Встречай в колы,
провожай в грабли!
Дело
  Стеньки
    с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
  поместья
    богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
  пусть
    петуха!
Подымай вилы!
Эх,
 не
  потухай, —
пет-
  тух милый!
Черт
  ему
    теперь
      родня!
Головы —
    кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
«Эх, яблочко,
    цвета ясного.
Бей
  справа белаво,

слева краснова».
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здоро́ва.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,
наши
грузим
дрова.

Можно
уйти
часа в два —
но мы —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.

Но *мы*
работаем,
будто *мы*
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
всё стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в *наших* вагонах,
по *нашим* степям,
в города
промерзшие
наши.
«Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дя́дей?»
— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

9

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?

И вопросам
разнедоуменным
не́т числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»,
и что это за
«соци-
алистическое отечество»?
«Мы
восторги ваши
понять бессильны.

Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?

Что вы знали,
кроме хлеба и воды, —
с трудом перебиваясь
со дня на́ день?
Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?

За что вы
идете,
если велят —
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бо́мбищей,
можно
умереть
за землю за свою,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться, —
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.

Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерина?
Жена,
да квартира,
да счет текущий —

вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».
Слушайте,
национальный трутень, —
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

10

Политика —
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок.
всей
буржуазной птичке —
пропа́сть.
Из «сюртэ́ женера́ль»,
из «инте́ллидженс се́рвис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.

Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного а́гентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с ви́ски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны
воды холодные.
Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.

Ткнешься
в Белое,
тткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица,
бульдожья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
— Красным не нравится?!
Им
голодно́?!
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно. —
А кому
на суше
грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
— На море потопим,
на суше
потопаем. —
Чужими руками
жар гребя,
дым
отечества
пускают
пострелины —
выставляют
впереди
одураченных ребят,

баронов
и князей
недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копи́те —
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
ёды вку́снятся.
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехи,
с ним
идут
голубые чехи.

Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан, —
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сантиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.

— Я
иду, мол,
(прихлебывает вúски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —
рррааз, —
кстати,
как дэнди,
и девушку спас. —
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вы́тая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного́,
да и тот скручен.
Как офицера́
его
величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья

и руки
холёные
туго
у горл.

Но...
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
ист э лонг уэй
ту го!»

На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...

Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ́» и «эгалитэ́»!

Свинцовый
льется
на нас
кипяток.

Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль дэнди».
Посреди
винтовок и орудий голосища
Москва —
островком,
и мы на островке.

Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом
в руке.

11

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают, —
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
— Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —

Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я
в комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.

Много
дела,
мало
горя им,
фунт
— целый! —
первой категории.
Рубят,
липовый
чай
выкушав.
— Мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет
обед,
будет
ужин, —
белых бы
вон
отбить от ворот.
Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт. —

А
мимо —
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком —
Правление
выдало
урюк
и повидло.
Богатые —
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни щей,
ни каш —

бифштекс
        с бульоном,
хлеб
    ваш,
полтора миллиона.
Ученому
        хуже:
фосфор
      нужен,
масло
     на блюдце.

Но,
   как нáзло,
есть революция,
а нету
    масла.

Они
   научные.
Напишут,
          вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатоль Васильича.
Где
   хлеб
     да мясá,
придут
     на час к вам.

Читает
     комиссар
мандат Луначарского:
«Так...
     сахар...
         так...
             жирок вам.
Дров...
     березовых...
                посуше поленья...
и шубу
     широкого
потребленья.
Я вас,
     товарищ,
                спрашиваю в упор.

Хотите —
берите
головной убор.
Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите
пока што
ногу
лошажью!»
Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный.

Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит, горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят

снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
мо́ря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря
туда,
где березовые
дрова
горят.

Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,

бросишь
и мчишь, колеся, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строка́х
боли
волжской
я не коснусь.

Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —

тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие

под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
вы́ходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.

Мне
легше, чем всем, —
я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусок
конский.
Скрип —
дверь,
пла́ча.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею

солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не валится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой —
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно, —
с него
идут
снега,
мягка
снегов
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.

Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакáла
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю!
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой вдвоем голодал, —
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести, —
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
— До́жили,
вот вам, —
нету
топлив
брюхам
заводовым.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зёва,
снова шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.
Вышли
за́ лес,
вместе
взя́лись.
Я ли,
вы ли,
откопали,
вырыли.
И снова
поезд
катит

за снежную
скатерть.
Слабеет тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
запевай,
и домой можно —
да на руки
положено
пять обмороженных.
Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.
Деникин
подходит
к са́мой,
к Тульской,
к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочьи хоры́.
— Будет...
крупичатая!..
пуды непочатые...
ручьи — чай,
сухари,
сахары́.
Бли-и-изко беленькие,
береги ке́ренки! —
Но город
проснулся,
в плакаты кадро́ванный, —
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»

И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончался,
кровав.

Кровь
по ступенькам
стекала на́ пол,
стыла
с пылью пополам
и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
— Заёрзали
длинноусые щуки!
Скоро
всех
слопают! —

А потом
топырили
глаза-тарéлины
в длинную
фамилий
и званий тропу.
Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике —
Лубянская
лапа
Че-ка.
— Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага! —
Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
— Нас не трогайте —
мы цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!

Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть. —
А утром
небо —
веча звóнница!
Вчерашний
день
виня во лжи,
расколоколивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!

И снова
дни
чередой заводнóй
сбегались
и просили:
— Идем
за нами —
«еще
одно
усилье».
От боя к труду —
от труда
до атак, —
в голоде,
в холоде
и наготе
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего, —

к таким
относишься
и́наче.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами, —
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на́ смерть!

16

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я
из дверей,
вижу —
они плывут...»
Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За де́нь
подметок стопали,
как за́ год похода.
На рейде
транспорты
и транспорточки,
драки,
крики,
ругня,
мотня, —

бегут
добровольцы,
задрав порточки, —
чистая публика
и солдатня.
У кого —
канарейка,
у кого —
рояльна,
кто со шкафом,
кто
с утюгом.
Кадеты —
на что уж
люди лояльные —
толкались локтями,
крыли матюгом.
Забыли приличия,
бросили моду,
кто —
без юбки,
а кто —
без носков.
Бьет
мужчина
даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.
Наши наседали,
крыли по трапам,
кашей
грузился
последний эшелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.
Глядя
на́ ноги,

шагом
    резким,
шел
    Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
        гóло.
Лодка
    шестивёсельная
стоит
    у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
    колена
упал главнокомандующий.
Трижды
    землю
        поцеловавши,
трижды
    город
        перекрестил.
Под пули
    в лодку прыгнул...
                — Ваше
превосходительство,
                грести? —
                    — Грести! —
Убрали весло.
Мотор
    заторкал.
Пошла
    веселó
к «Алмазу»
    моторка.
Пулей
    пролетела
        штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
                далеко,
                    сзади,
тащились
    оторванные
        от станка и пáхот,

узлов
полтораста
накручивая зá день.
От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.
Впе-
реди
година на године.
Каждого
трясись,
который в каске.
Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.
Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гнáлось:
«Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи».
Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца

стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
— Ол
райт. —
И ушли
в хвосте отступающих свор, —
орудия на город,
курс на Босфор.
В духовках солнца
горы́
жарко́е.
Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.
Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бесстрашная,
в дожде-свинце:
«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер».

Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
— «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!» —
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
«Врангель
оп-
раки-
нут
в море.
Пленных нет».
Покамест —
точка
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зóри.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих

всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым пудом сенца́,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.

И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

18

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.

Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.

Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворствуют
церкви,
монашьи шельмы.

Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь

уносится
с камня
голого.

Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сияньи, в яви
в денной...

Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.

Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже,
и злей,
и,
как нагроможденные книги, —
его
мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка́, —
души́
не смущу
мертвизной, —
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.

Но могилы
не пускают, —
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу —
Париж
и из окон Дóрио...
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась, —
и кровью
газета намокла.
За ним
предо мной,
на мгновенье короткое,
такой,
с каким
портретами сжились, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».

Кто костьми,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,

крепнет,
сильна и стройна.

И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи?
— Нет!

В мире
насилья и денег,
тюрем
и петель витья —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.

— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину
не свйла?

Скажите —
цела?
Скажите —
едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ощетинивши,

с первым
приказом:
«Вперед!»

19

Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —
и жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей, —
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.
Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены».
Стала
оперяться
моя
кооперация.

Бьем
    грошом.
Очень хорошо.
Грудью
    у витринных
        книжных груд
Моя
  фамилия
    в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
    это
        мой труд
вливается
    в труд
        моей республики.
Пыль
   взбили
шиной губатой —
в моем
   автомобиле
мои
  депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
    не совейте
в моем
   Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
    желт.
Моя
  милиция
меня
  бережет.
Жезлом
    правит,
чтоб вправо
    шел.
Пойду
   направо.
Очень хорошо.
Надо мною
    небо.

Синий
   шелк!
Никогда
      не было
так
  хорошо!
Тучи-
    кочки
переплыли летчики.
Это
  летчики мои.
Встал,
   словно дерево, я.
Всыпят,
      как пойдут в бои,
по число
      по первое.
В газету
      глаза:
молодцы — вéнцы!
Буржуя́м
      под зад
наддают
      ко́ленцем.
Суд
  жгут.
Зер
  гут.
Идет
   пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
         дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
      передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят?
      Хорошо.
Полки
      идут
у меня на виду.
Барабану
      в бока

бьют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся, —
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздуха́ береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
вовек чтоб
не смолкла, —
побольше
ситчика
моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.

В ду-
  хах
    про-
      шел.
Как хо-
      рошо!
За городом —
              поле.
В полях —
        деревеньки.
В деревнях —
            крестьяне.
Бороды
      веники.
Сидят
    папаши.
Каждый
          хитр.
Землю попашет,
попишет
      стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа люба́.
Сеют,
   пекут
мне
  хлеба́.
Доят,
   пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
      дыбится.
Другим
     странам
           по́ сто.
История —
        пастью гроба.
А моя
    страна —
          подросток, —
твори,
   выдумывай,
           пробуй!

Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста́
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

Александр Твардовский

ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ

Поэма

ЗА ДАЛЬЮ—ДАЛЬ

Пора! Ударил отправленье
Вокзал, огнями залитой,
И жизнь, что прожита с рожденья,
Уже как будто за чертой.

Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А между тем дороги этой
За столько лет не совершил;

Хотя своей считал дорогой
И про себя ее берег,
Как книгу, что прочесть до срока
Все собирался и не мог.

Мешало многое другое,
Что нынче в памяти у всех.
Мне нужен был запас покоя,
Чтоб ей отдаться без помех.

Но книги первую страницу
Я открываю в срок такой,
Когда покой, как говорится,
Опять уходит на покой...

Я еду. Малый дом со мною,
Что каждый в путь с собой берет.
А мир огромный за стеною,
Как за бортом вода, ревет.

Он над моей поет постелью
И по стеклу сечет крупой,
Дурной, безвременной метелью
Свистит и воет вразнобой.

Он полон сдавленной тревоги,
Беды, что очереди ждет.
Он здесь еще слышней, в дороге,
Лежащей прямо на восход...

Я еду. Спать бы на здоровье,
Но мне покамест не до сна:
Еще огнями Подмосковья
Снаружи ночь озарена.
Еще мне хватит этой полки,
Еще московских суток жаль.
Еще такая даль до Волги,
А там-то и начнется даль —
За той великой водной гранью.

И эта лестница из шпал,
Пройдя Заволжье,
Предуралье,
Взойдет отлого на Урал.
Урал, чьей выработки сталью
Звенит под нами магистраль.

А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.

А там Байкал, за тою далью,—
В полсуток обогнуть едва ль,—
А за Байкалом —
Забайкалье.
А там еще другая даль,
Что обернется далью новой.
А та, неведомая мне,
Еще с иной, большой, суровой,
Сомкнется и пройдет в окне...

А той порой, отменно точный,
Всего пути исполнив срок,
Придет состав дальневосточный
На Дальний, собственно, Восток,
Где перед станцией последней,
У пограничного столба,
Сдается мне, с земли соседней
Глухая слышится пальба...

Но я еще с Москвою вместе,
Еще во времени одном.
И, точно дома перед сном,
Ее последних жду известий;
Она свой голос подает
И мне в моей дороге дальней.
А там из-за моря восход
Встает, как зарево, печальный.

И день войны, нещадный день,
Вступает в горы и долины,
Где городов и деревень
Дымятся вновь и вновь руины.

И длится вновь бессонный труд,
Страда защитников Кореи.
С утра усталые ревут
Береговые батареи...

Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесен от стен Европы.

И вы, что горе привезли
На этот берег возрожденный,
От вашей собственной земли
Всем океаном отделенный,—
Хоть в цвет иной рядитесь вы,
Но ошибется мир едва ли:
Мы вас встречали у Москвы
И до Берлина провожали...

Народ — подвижник и герой —
Оружье зла оружьем встретил.
За грех войны карал войной,
За смерть — печатью смерти метил.

В борьбе исполнен новых сил,
Он в годы грозных испытаний
Восток и Запад пробудил,—
И вот —
Полмира в нашем стане!

Что ж, или тот урок забыт
И вновь, под новым только флагом,

Живой душе война грозит,
Идет на мир знакомым шагом?

И, чуждый жизни, этот шаг,
Врываясь в речь ночных известий,
У человечества в ушах
Стоит, как явь и как предвестье.

С ним не забыться, не уснуть,
С ним не обвыкнуть и не сжиться.
Он — как земля во рву на грудь
Зарытым заживо ложится...

Дорога дальняя моя,
Окрестный мир земли обширной,
Родные русские поля,
В ночи мерцающие мирно,—

Не вам ли памятны года,
Когда по этой магистрали
Во тьме оттуда и туда
Составы без огней бежали;

Когда тянулись в глубь страны
По этой насыпи и рельсам
Заводы — беженцы войны —
И с ними люди — погорельцы;

Когда, стволы зениток ввысь
Подняв над «улицей зеленой»,
Безостановочно неслись
Туда, на запад, эшелоны.

И только, может, мельком взгляд
Тоски немой и бесконечной —
Из роты маршевой солдат
Кидал на санитарный встречный...

Та память вынесенных мук
Жива, притихшая, в народе,
Как рана, что нет-нет и вдруг
Заговорит к дурной погоде.

Но, люди, счастье наше в том,
Что счастья мы хотим упорно,

Что на века свой строим дом,
Свой мир живой и рукотворный.

Он всех людских надежд оплот,
Он всем людским сердцам доступен.
Его ли смерти мы уступим?..

На Спасской башне полночь бьет...

В ДОРОГЕ

Лиха беда — пути начало,
Запев дается тяжело,
А там, глядишь: пошло, пожалуй?
Строка к строке — ну да, пошло.

Да как пошло!
Сама дорога, —
Ты только душу ей отдай,—
Твоя надежная подмога,

Тебе несет за далью — даль,
Перо поспешно по бумаге
Ведет, и весело тебе:
Взялся огонь, и доброй тяги
Воюет музыка в трубе.

И счастья верные приметы:
Озноб, тревожный сердца стук,
И сладким жаром лоб согретый,
И дрожь до дела жадных рук...

...Когда в безвестности до срока,
Не на виду еще, поэт
Творит свой подвиг одиноко,
Заветный свой хранит секрет,

Готовит людям свой подарок,
В тиши затеянный давно,—
Он может быть больным и старым,
Усталым — счастлив все равно.

И даже пусть найдет морока —
Нелепый толк, обидный суд,

Когда бранить его жестоко
На первом выходе начнут,—

Он слышит это и не слышит,
В заботах нового труда,
Тем часом он — поэт, он пишет,
Он занимает города.

И все при нем в том добром часе:
Его Варшава и Берлин,
И слава, что еще в запасе,
И он на свете не один.

И пусть за критиками следом
В тот гордый мир войдет жена,
Коснувшись к слову, за обедом
Вопросов хлеба и пшена,—
Все эти беды —
К малым бедам,
Одна беда ему страшна.

Она придет в иную пору,
Когда он некий перевал
Преодолел, взошел на гору
И отовсюду виден стал.
Когда он всеми шумно встречен,
Самим Фадеевым отмечен,
Пшеном в избытке обеспечен,
Друзьями в классики намечен,
Почти уже увековечен,
И хвать писать —
Пропал запал!
Пропал запал
По всем приметам,
Твой горький день вступил в права.
Все — звоном, запахом и цветом —
Нехороши тебе слова;

Недостоверны мысли, чувства,
Ты строго взвесил их — не тѐ...
И все вокруг мертво и пусто,
И тошно в этой пустоте.

Да, дело будто бы за малым,
А хвать-похвать — и ни рожна.

И здесь беда, что впрямь страшна,
Здесь худо быть больным, усталым,
Здесь горько молодость нужна!

Чтоб не смириться виновато,
Не быть у прошлого в долгу,
Не говорить: я мог когда-то,
А вот уж больше не могу.

Но верным прежней быть гордыне,
Когда ты щедрый, не скупой,
И все, что сделано доныне,
Считаешь только черновой;

Когда, заминкой не встревожен,
Еще беспечен ты и смел,
Еще не думал, что положен
Тебе хоть где-нибудь предел;

Когда — покамест суд да справа —
Богат, широк — полна душа —
Ты водку пьешь еще для славы,—
Не потому, что хороша.

И врешь еще для интересу,
Что труден путь и жизнь сложна...
Ах, как ты горько, до зарезу,
Попозже, молодость, нужна!

Пришла беда — и вроде не с кем
Делиться этою бедой.
А время жмет на все железки
И не проси его:
— Постой!

Повремени, крутое время,
Дай осмотреться, что к чему.
Дай мне в пути поспеть со всеми,
А то, мол, тяжко одному...
И знай, поэт, ты нынче вроде
Как тот солдат, что от полка
Отстал случайно на походе,
И сушит рот ему тоска.

Бредет обочиной дороги.
Туда ли, нет — не знает сам,

И счет в отчаянной тревоге
Ведет потерянным часам.

Один в пути — какой он житель!
Догнать, явиться: виноват,
Отстал, взыщите, накажите...
А как наказан, так — солдат!
Так свой опять — и дело свято.
Хоть потерпел, зато учен.
А что еще там ждет солдата,
То все на свете нипочем...

...Изведав горькую тревогу,
В беде уверившись вполне,
Я в эту бросился дорогу,
Я знал, она поможет мне.

Иль не меня четыре года,
Покамест шла войны страда,
Трепала всякая погода,
Мотала всякая езда.
И был мне тот режим не вреден,
Я жил со всеми наравне.

Давай-ка, брат, давай поедем:
Не только свету, что в окне.
Скорее вон из кельи тесной,
И все не так, и ты хорош,—
Самообман давно известный,
Давно испытанный, а все ж —
Пусть трезвый опыт не перечит,
Что нам дорога — лучший быт.
Она трясет и бьет,
А лечит,
И старит нас,
А молодит!

Понять ли доброму соседу,
Что подо мной внизу в купе,
Как сладко мне слова: «Я еду,
Я еду» — повторять себе.

И сколько есть в дороге станций,
Наверно б, я на каждой мог
Сойти с вещами и остаться
На некий неизвестный срок,

Я рад любому месту в мире,
Как новожил московский тот,
Что счастлив жить в любой квартире,
Какую бог ему пошлет.

Я в скуку дальних мест не верю,
И край, где нынче нет меня,
Я ощущаю, как потерю
Из жизни выбывшего дня.

Я сердце по свету рассеять
Готов. Везде хочу поспеть.
Мне нужны разом
Юг и север,
Восток и запад,
Лес и степь;

Моря и каменные горы,
И вольный плес равнинных рек,
И мой родной далекий город,
И тот, где не был я вовек;

И те края, куда я еду,
И те места, куда нет-нет
По зарастающему следу
Уводит память давних лет...

Есть два разряда путешествий:
Один — пускаться с места вдаль,
Другой — сидеть себе на месте,
Листать обратно календарь.

На этот раз резон особый
Их сочетать позволит мне.
И тот и тот — мне кстати оба,
И путь мой выгоден вдвойне.

Помимо прочего, при этом
Я полон радости побыть
С самим собою, с белым светом,
Что в жизни вспомнить, что забыть...

Но знай, читатель, эти строки,
С отрадой лежа на боку,
Сложил я, будучи в дороге,
От службы как бы в отпуску,—

Подальше как бы от начальства.
И если доброй ты души,
Ты на меня не ополчайся
И суд свой править не спеши.

Не метусись, как критик вздорный,
По пустякам не трать огня.
И не ищи во мне упорно
Того, что знаешь без меня...

Повремени вскрывать причины
С угрюмой важностью лица.

Прочти хотя б до половины,
Авось прочтешь и до конца.

СЕМЬ ТЫСЯЧ РЕК

Еще сквозь сон на верхней полке
Расслышал я под стук колес,
Как слово первое о Волге
Негромко кто-то произнес.

Встаю — вагон с рассвета в сборе,
Теснясь у каждого окна,
Уже толпится в коридоре,—
Уже вблизи была она.

И пыл волненья необычный
Всех сразу сблизил меж собой,
Как перед аркой пограничной
Иль в первый раз перед Москвой...

И мы стоим с майором в паре,
Припав к стеклу, плечо в плечо,
С кем ночь в купе одном проспали
И не знакомились еще.

Стоим и жадно курим оба,
Полны взаимного добра,
Как будто мы друзья до гроба
Иль вместе выпили с утра.

И уступить спешим друг другу
Мы лучший краешек окна.

И вот мою он тронул руку
И словно выдохнул:
— Она!

— Она! —
И тихо засмеялся,
Как будто Волгу он, сосед,
Мне обещал, а сам боялся,
Что вдруг ее на месте нет.

— Она! —
И справа, недалеко,
Моста не видя впереди,
Мы видим плес ее широкий
В разрыве поля на пути.

Казалось, поезд этот с ходу —
Уже спасенья не проси —
Взлетит, внизу оставив воду,
Убрав колеса, как шасси.

Но нет, смиренно ход убавив
У будки крохотной поста,
Втянулся он, как подобает,
В тоннель решетчатый моста

И загремел над ширью плеса,
Покамест сотни звонких шпал,
Поспешно легших под колеса,
Все до одной не перебрал...

И не успеть вглядеться толком,
А вот уже ушла из глаз
И позади осталась Волга,
В пути не покидая нас,
Не уступая добровольно
Раздумий наших и речей
Ничьей иной красе окольной
И даже памяти ничьей.

Ни этой дали, этой шири,
Что новый край за ней простер.
Ни дерзкой славе рек Сибири,
Коль их касался разговор.

Ни заграницам отдаленным,
Ни любопытной старине,

Ни городам, вчера рожденным,
Как будто взятым на войне.

Ни новым замыслам ученым,
Ни самым, может быть, твоим
Воспоминаньям береженым,
Местам, делам и дням иным...

Должно быть, той влекущей силой,
Что люди знали с давних лет,
Она сердца к себе манила,
Звала их за собою вслед.

Туда, где нынешнею славой
Не смущена еще ничуть,
Она привычно, величаво
Свой древний совершала путь...

Семь тысяч рек.
Ни в чем не равных:
И с гор стремящих бурный бег,
И меж полей в изгибах плавных
Текущих вдаль — семь тысяч рек
Она со всех концов собрала —
Больших и малых — до одной,
Что от Валдая до Урала
Избороздили шар земной.

И в том родстве переплетенном,
Одной причастные семье,
Как будто древом разветвленным
Расположились на земле.

Пусть воды их в ее теченье
Неразличимы, как одна,
Краев несчетных отраженье
Уносит волжская волна.

В нее смотрелось пол-России —
Равнины, горы и леса,
Сады и парки городские
И вся наземная краса:
Кремлевских стен державный гребень
Соборов главы и кресты;
Ракиты старых сельских гребель,
Многопролетные мосты;

Заводы, вышки буровые,
Деревни с пригородом смесь,
И школьный дом, где ты впервые
Узнал, что в мире Волга есть...

Вот почему нельзя не верить,
Любуясь этою волной,
Что сводит Волга — берег в берег —
Восток и Запад над собой;

Что оба края воедино
Над нею сблизились навек,
Что Волга — это середина
Земли родной.
Семь тысяч рек!

В степи к назначенному сроку,
Извечный свой нарушив ход,
Она пришла донской дорогой
В бескрайний плес всемирных вод.

Ее стремленью уступила
Водораздельная гора.
И стало явью то, что было
Мечтой еще царя Петра,
Наметкой смутной поколений,
Нуждой, что меж несчетных дел
И нужд иных великий Ленин
Уже тогда в виду имел...

Пусть в океанском том смешенье
Ее волна растворена,
Земли родимой отраженье
Уже и там несет она...
Пусть реки есть, каким дорога
Сама собой туда дана
И в мире слава их полна;
Пусть реки есть мощней намного —
Но Волга-матушка одна!

И званье матушки носила
В пути своем не век, не два —
На то особые права —
Она,
Да матушка Россия,
Да с ними матушка Москва.

...Сидим в купе с майором рядом,
как будто взяли перевал.

Он, мой сосед, под Сталинградом
За эту Волгу воевал.

ДВЕ КУЗНИЦЫ

На хуторском глухом подворье,
В тени обкуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос.
И отсвет жара горнового
Под закопченным потолком,
И свежесть пола земляного,
И запах дыма с деготьком —
Привычны мне с тех пор, пожалуй,
Как там, взойдя к отцу в обед,
Мать на руках меня держала,
Когда ей было двадцать лет...

Я помню нашей наковальни
В лесной тиши сиротский звон,
Такой усталый и печальный
По вечерам, как будто он
Вещал вокруг о жизни трудной,
О скудном выручкою дне
В той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне,
Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути;
Где мог бы все свое железо
Мужик под мышкой унести;
Где был заказчик — гость случайный,
Что к кузнецу раз в десять лет
Ходил, как к доктору, от крайней
Нужды, когда уж мочи нет...

И этот голос наковальни,
Да скрип мехов, да шум огня
С далекой той поры начальной
В ушах не молкнет у меня.

Не молкнет память жизни бедной,
Обидной, горькой и глухой,

Пускай исчезнувшей бесследно,
С отцом ушедшей на покой.

И пусть она не повторится,
Но я с нее свой начал путь,
Я и добром, как говорится,
Ее обязан помянуть.

За все ребячьи впечатленья,
Что в зрелый век с собой принес,
За эту кузницу под тенью
Дымком обкуренных берез.

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.

И с топором отхожим плотник,
И старый воин — грудь в крестах;
И местный мученик-охотник
С ружьишком ветхим на гвоздях;
И землемер, и дьякон медный,
И в блестках сбруи коновал,
И скупщик лиха Ицка бедный,—
И кто там только не бывал!

Там был приют суждений ярых
О недалекой старине,
О прежних выдумщиках-барах,
Об ихней пище и вине;
О загранице и России,
О хлебных сказочных краях;
О боге, о нечистой силе,
О полководцах и царях;
О нуждах мира волостного,
Затменьях солнца и луны;
О наставленьях Льва Толстого
И притесненьях от казны...

Там человеческой природе
Отрада редкая была —
Побыть в охоту на народе,
Забыть, что жизнь невесела.
Сиди, пристроившись в прохладе,

Чужой махоркою дыми,
Кряхти, вздыхай — не скуки ради,
А за компанию с людьми.
И словно всяк — хозяин-барин,
И ни к чему спешить домой...

Но я особо благодарен
Тем дням за ранний навык мой.
За то, что там ребенком малым
Познал, какие чудеса
Творит союз огня с металлом
В согласье с волей кузнеца.

Я видел в яви это диво,
Как у него под молотком
Рождалось все, чем пашут ниву,
Корчуют лес и рубят дом.

Я им гордился бесконечно,
Я знал уже, что мастер мог
Тем молотком своим кузнечным
Сковать такой же молоток.

Я знал не только понаслышке,
Что труд его в большой чести;
Что без железной кочедыжки
И лаптя даже не сплести.

Мне с той поры в привычку стали
Дутья тугой, бодрящий рев,
Тревожный свет кипящей стали
И под ударом взрыв паров.
И садкий бой кувалды древней,
Что с горделивою тоской
Звенела там в глуши деревни,
Как отзвук славы заводской...

...Полжизни с лишком миновало,
И дался случай мне судьбой
Кувалду главную Урала
В работе видеть боевой.

И хоть волною грозной жара
Я был далеко отстранен,
Земля отчетливо дрожала
Под той кувалдой в тыщи тонн...

Казалось, с каждого удара
У всех под пятками она
С угрюмым стоном припадала,
До скальных недр потрясена...

И пусть тем грохотом вселенским
Я был вначале оглушен,
Своей кувалды деревенской
Я в нем родной расслышал звон.

Я запах, издавна знакомый,
Огня с окалиной вдыхал,
Я был в той кузнице, как дома,
Хоть знал,
Что это был Урал.

Урал!
Завет веков и вместе —
Предвестье будущих времен,
И в наши души, точно песня,
Могучим басом входит он —
Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Когда на запад эшелоны,
На край пылающей земли,
Ту мощь брони незачехленной
Стволов и гусениц везли,—
Тогда, бывало, поголовно
Весь фронт огромный повторял
Со вздохом нежности сыновней
Два слова:
— Батюшка Урал...

Когда добром его груженный,
На встречной скорости состав,
Как сквозь тоннель гремит бетонный,
С прогибом рельсов даль прорвав,—
Не диво мне, что люд вагонный,
Среди своих забот, забав,
Невольно связь речей теряя,
На миг как будто шапку сняв,

Примолкнет, сердцем повторяя
Два слова:
— Батюшка Урал...

Урал!
Я нынче еду мимо,
И что-то сжалося в груди:
Тебя, как будто край родимый,
Я оставляю позади.

Но сколько раз в дороге дальней
Я повторю — как лег, как встал,—
И все теплей и благодарней
Два слова:
— Батюшка Урал...

Урал!
Невольною печалью
Я отдаю прощанью дань...

А за Уралом —
Зауралье,
А там своя, иная даль.

ДВЕ ДАЛИ

Иная даль,
Иная зона,
И не гранит под полотном —
Глухая мякоть чернозема
И степь без края за окном.

И на ее равнине плоской —
Где малой рощицей, где врозь —
Старообразные березки
Белеют — голые, как кость.

Идут, сквозные, негустые,
Вдоль горизонта зеленя
Да травы изжелта-седые,
Под ветром ждущие огня.

И час за часом край все шире,
Уже он день и два в окне,

Уже мы едем в той стране,
Где говорят:
— У нас, в Сибири...

Сибирь!
Не что-то там вдали,
Во мгле моей дороги длинной,
Не бог весть где, не край земли,
А край такой же серединный,
Как на Урале был Урал,
А там — Поволжье, Подмосковье,
И все, что ты уже терял
За неустанной встречной новью.

И ненасытная мечта
В пути находит неизменно:
Две дали разом — та и та —
Влекут к себе одновременно...

...Стожок подщипанный сенца,
Колодец, будка путевая.
И в оба от нее конца
Уходят, землю обвивая,
Две эти дали, как одна.
И обе вдруг душе предстали.
И до краев душа полна
Теплом восторга и печали...

Опять рассвет вступил в окно —
Ему все ближе путь с востока,
А тот стожок давным-давно
Уже на западе далеко.
И словно год назад прошли
Уральской выемки откосы,
Где громоздились из земли
Пласты породы, как торосы.

И позади вдали места,
Что так же шли в окне вагона.
И Волга — с волжского моста,
И все за нею перегоны.

Столичный пригород, огни,
Что этот поезд провожали,
И те, что в этот час в тени
Или в лучах закатных — дали...

С дороги — через всю страну —
Я вижу отчий край смоленский
И вспомнить вновь не премину
Мой первый город деревенский.

Он славой с древности гремел,
Но для меня в ребячью пору
Названья даже не имел —
Он был один,
Был просто город.

И, как тогда я ни был мал,
Я не забыл и не забуду
Тот запах, что в избу вступал
С отцом, приехавшим оттуда.

Как будто с поскрипом сеней,
С морозным облаком надворья,
В былинках сена из саней
Сам город прибывал в Загорье.

Нездешний, редкий, привозной,
Тревожно-праздничный и пряный,
То запах жизни был иной —
Такой несбыточной и странной.

Он долго жил для нас во всем:
В гостинце каждом и покупке,
В нагольном старом полушубке,
Что побыл в городе с отцом.

Волненью давнему парнишки
Доступна полностью душа,
Как вспомню запах первой книжки
И самый вкус карандаша...

Всем, чем к земле родной привязан,
Чем каждый день и час дышу,
Я, как бы ни было, обязан
Той книжке и карандашу;
Тому ребячьему смятенью,
С каким касался их рукой
И приступал к письму и чтенью —
Науке первой городской.

И что ж такого, что с годами
Я к той поре глухим не стал
И все взыскательнее память
К началу всех моих начал!

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы,
Из той избы.
И счастлив тем, что я не чудо
Особой, избранной судьбы.

Мы все — почти что поголовно —
Оттуда люди, от земли,
И дальше деда родословной
Не знаем: предки не вели,
Не беспокоились о древе,
Рождались, жили в свой черед,
Хоть род и мой — он так же древен,
Как, скажем, твой, читатель, род...

Читатель!
Друг из самых лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой,
Все кряду слушать мастер дивный,
Неприхотливый, безунывный.
(Не то что слушатель иной,
Что нам встречается в натуре:
То у него сонливый вид,
То он свистит, глаза прищуря,
То сам прорваться норовит.)

Пусть ты меня уже оставил,
Загнув странички уголок,
Зевнул — хоть это против правил,—
И даже пусть на некий срок
Вздремнул ты, лежа или сидя,
Устав от множества стихов,—
Того не зная и не видя,
Я на тебя и не в обиде:
Я сам, по слабости, таков.

Меня, опять же, не убудет,
Коль скажешь ты иль кто другой:

Не многовато ль, дескать, будет,
Подряд материи такой,
Как отступленья, восклицанья
Да оговорок этих тьма?
Не стать ли им чрезмерной данью
Заветам старого письма?

Я повторю великодушно:
Не хлопочи о том, дружок,—
Читай, пока не станет скучно,
А там — бросай.
И я — молчок.
Тебя я тотчас покидаю,
Поникнув скромно головой.
Я не о том совсем мечтаю,
Чтоб был читатель волевой,
Что, не страшась печатной тины,
Вплоть до конца несет свой крест
И в силу самодисциплины
Что преподносят, то и ест.

Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганый милей.
Уж если вник,— с меня довольно,
Горжусь победою моей,
Волнуясь, руки потираю:
Ты — мой.
И холод по спине:
А вдруг такого потеряю?
Тогда конец и горе мне.
Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду.
А нет — на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду...

Продолжим, стало быть, беседу.
Для одного тебя, учти,
Я с юных дней иду и еду
И столько лет уже в пути.
И все одна командировка,—
Она мне слишком дорога...

Но что там — вроде остановка?
— Какая станция?
— Тайга.

Состав стоит, пробег немалый
В пути оставив за хвостом,
И от уставшего металла
Внизу течет звенящий стон.

Снаружи говор оживленный,
В огне перрон, как днем светло.
Опять за стенкою вагонной
Полтыщи верст в ночи прошло.

Прошли мосты, мелькнули реки,
Минули целые края,
Которых, может быть, вовеки
Вот так и не увижу я.
И что за земли — знать не буду —
Во сне ушли из-под колес...

А тут еще весны причуды —
Не вспять ли время подалось?

Как будто мы в таежный пояс
Вошли за станцией Тайгой.
Теплом полей обдутый поезд
Как будто взял маршрут другой.

Как будто вдруг сменился климат:
Зима — и все вокруг бело.
Сухой пурги дремотным дымом
Костлявый лес заволокло...

Но, с путевой надежной сталью
Смыкая туго сталь колес,
Спешит состав за новой далью.
Гребет пространство паровоз
И разрывает мир единый,
Что отступает с двух сторон,
На две большие половины,
На юг и север вдоль окон.

Сквозь муть пурги еще невнятно
Вступает новый край в права.
А где-то там, в дали обратной,—
Урал, и Волга, и Москва,
Смоленск, мосты и переправы
Днепра, Березины, Двины,

Весь запад — до границ державы
И дальше — по следам войны,
По рубежам ее остывшим,
По блиндажам ее оплывшим,
По стольким памятным местам...

Я здесь в пути, но я и там —
И в той дороге незабвенной,
У тех, у дорогих могил,
Где мой герой поры военной
С войсками фронта проходил.
Хоть та пора все дале, дале,
Все больше верст, все больше дней.
Хоть свет иной, желанной дали
В окне вагона все видней.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РАЗГОВОР

А скажем прямо, что не шутки —
Уже одно житье-бытье,
Когда в дороге третьи сутки —
Еще едва ли треть ее.

Когда в пути почти полмира,
Через огромные края
Пройдет вагон — твоя квартира,
Твой дом и улица твоя...

В такой дороге крайне дорог
Особый лад на этот срок,
Чтоб все тебе пришлося впору,
Как добрый по ноге сапог.

И время года, и погода,
И звук привычного гудка,
И даже радио в охоту,
И самовар проводника...

С людьми в дороге надо сжиться,
Чтоб стали как свои тебе
Впервые встреченные лица
Твоих соседей по купе.

Как мой майор, седой и тучный,
С краснотцей жесткой бритых щек,

Иль этот старичок научный,
Сквозной, как молодой сморчок.

И чтоб в привычку стали вскоре,
Как с давних пор заведено,
Полузнакомства в коридоре,
Где на двоих-троих окно,

Где моряка хрустящий китель
В соседстве с мягким пиджаком.
Где областной руководитель —
Не в кабинете со звонком;

Где в орденах старик кудрявый
Таит в улыбке торжество
Своей, быть может, громкой славы,
Безвестной спутникам его;

Где дама строгая в пижаме
Загромоздит порой проход,
Смущая щеголя с усами,
Что не растут такие сами
Без долгих, вдумчивых забот.

Где все — как все: горняк, охотник,
Путеец, врач солидных лет
И лысый творческий работник,
С утра освоивший буфет.

Все сведены дорожной далью:
И тот, и та, и я, и вы,
И даже — к счету — поп с медалью
Восьмисотлетия Москвы...

И только держатся особо,
Друг другом заняты вполне,—
Выпускники, наверно, оба —
Молодожены в стороне.

Рука с рукой — по-детски мило —
Они у крайнего окна
Стоят посередине мира —
Он и она,
Муж и жена.

Своя безмолвная беседа
У этой новенькой четы.
На край земли, быть может, едут,
А может, только до Читы.
Ну до какой-нибудь Могочи,
Что за Читою невдали.
А может, путь того короче.
А что такое край земли?

Тот край и есть такое место,
Как раз такая сторона,
Куда извечно, как известно,
Была любовь устремлена.

Ей лучше знать, что все едино,
Что место, где ни загадай,
Оно — и край, и середина,
И наша близь,
И наша даль.

А что ей в мире все напасти,
Когда при ней ее запас!
А что такое в жизни счастье?
Вот это самое как раз —
Их двое, близко ли, далеко,
В любую часть земли родной,
С надеждой ясной и высокой
Держащих путь — рука с рукой.

Нет, хорошо в дороге долгой
В купе освоить уголок
С окошком, столиком и полкой
И ехать, лежа поперек
Дороги той.
　　　　　　И ты не прежний,
Не тот, чем звался, знался, жил,
А безымянный, безмятежный,
Спокойный, дальний пассажир.

И нет на лбу иного знака,
Дымишь, как всякий табакур.
Отрада полная.
　　　　　　Однако
Не обольщайся чересчур...

Хоть не в твоей совсем натуре
Трибуной тешиться в пути,
Но эту дань литературе
И здесь приходится нести.

Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт,
Заполнить устную анкету
И на досуге, без помех
Призвать, как принято, к ответу
Не одного тебя, а всех.

Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?

Мол, дело, собственно, не в счете.
Но мимо вас проходит жизнь,
А вы, должно быть, водку пьете,
По кабинетам запершись.

На стройку вас, в колхозы срочно,
Оторвались, в себя ушли...

И ты киваешь:
— Точно, точно.
Не отразили, не учли...

Но вот другой:
— Ах, что там — стройка,
Завод, колхоз! Не в этом суть.
Бывает, их наедет столько,
Творцов, певцов.
А толку — чуть.

Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том.
Глядишь — роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред

И в коммунизм идущий дед.
Она и он передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...

И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.

Да неужели
В самом деле
Тоска такая все кругом —
Все наши дни, труды, идеи
И завтра нашего закон?

Нет, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно,
Я верю, мучаюсь, люблю.

Я счастлив жить, служить Отчизне,
Я за нее ходил на бой.
Я и рожден на свет для жизни —
Не для статьи передовой.

Кончаю книгу в раздраженье.
С души воротит: где же край?
А края нет. Есть продолженье.
Нет, братец, хватит. Совесть знай.

И ты киваешь:
— Верно, верно,
Понятно, критика права...

Но ты их слышать рад безмерно,
Все эти горькие слова.

За их судом и шуткой грубой
Ты различаешь без труда
Одно, что дорого и любо
Душе, мечте твоей всегда,—
Желанье той счастливой встречи
С тобой иль с кем-нибудь иным,

Где жар живой, правдивой речи,
А не вранья холодный дым.
Где все твое незаменимо,
И есть за что тебя любить,
И ты тот самый,
Тот любимый,
Каким еще ты можешь быть.

И ради той любви бесценной,
Забыв о горечи годов,
Готов трудиться ты и денно
И нощно —
Душу сжечь готов.
Готов на все суды и толки
Махнуть рукой. Все в этом долге,
Все в этой доблести! А там...

Вдруг новый голос с верхней полки:
— Не выйдет...
— То есть как?
— Не дам...

Не то чтоб это окрик зычный,
Нет, но особый жесткий тон,
С каким начальники обычно
Отказ роняют в телефон.

— Не выйдет,— протянул вторично.
— Но кто вы там, над головой?
— Ты это знаешь сам отлично...
— А все же?
— Я редактор твой.

И с полки голову со смехом
Мой третий свесил вдруг сосед:
— Ты думал что? Что ты уехал
И от меня? Нет, милый, нет.

Мы и в пути с тобой соседи,
И все я слышу в полусне.
Лишь до поры мешать беседе,
Признаться, не хотелось мне.

Мне было попросту занятно,
Смотрю: ну до чего хорош,

Ну как горяч невероятно,
Как смел! И как ты на попятный
От самого себя пойдешь.

Как, позабавившись игрою,
Ударишь сам себе отбой.
Зачем? Затем, что я с тобою —
Всегда, везде — редактор твой.

Ведь ты над белою бумагой,
Объятый творческой мечтой,
Ты, умник, без меня ни шагу,
Ни строчки и ни запятой.

Я только мелочи убавлю
Там, сям — и ты как будто цел.
И все нетронутым оставлю,
Что сам ты вычеркнуть хотел.

Там карандаш, а тут резинка,
И все по чести, все любя.
И в свет ты выйдешь, как картинка,
Какой задумал я тебя.

— Стой, погоди, — сказал я строго,
Хоть самого кидало в дрожь.—
Стой, погоди, ты слишком много,
Редактор, на себя берешь!

И, голос вкрадчиво снижая,
Он отвечает:
— Не беру.
Отнюдь. Я все препоручаю
Тебе и твоему перу.

Мне самому-то нет расчету
Корпеть, черкать, судьбу кляня.
Понятно? Всю мою работу
Ты исполняешь за меня.

Вот в чем секрет, аника-воин,
И спорить незачем теперь.
Все так. И я тобой доволен
И не нарадуюсь, поверь.

Я всем тебя предпочитаю,
Примером ставлю — вот поэт,
Кого я просто не читаю:
Тут опасаться нужды нет.

И подмигнул мне хитрым глазом:
Мол, ты, да я, да мы с тобой...

Но тут его прервал я разом:
— Поговорил — слезай долой.

В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон
Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.
В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень.
Ты — лень моя.

Встряхнусь — и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь,
Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...
И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел,—
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?

А между тем народ вагонный,
Как зал, заполнив коридор,
Стоял и слушал возбужденно
Весь этот жаркий разговор...
И молча тешились забавой
Майор с научным старичком.
И пустовала полка справа:
В купе мы ехали втроем.

И только — будь я суевером —
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с этой полки запах серы
В отдушник медленно протек...

ОГНИ СИБИРИ

Сибирь!
Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь
Пяти Европам
Со всею музыкой своей.

Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Ее рудник и арсенал.

Край, где несметный клад заложен,
Под слоем — слой мощней вдвойне.
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.

Родимый край лихих Сибирских
Трем войнам памятных полков
С иртышских,
Томских,
Обских,
Бийских
И енисейских берегов.

Сестра Урала и Алтая,
Своя, родная вдаль и вширь,
С плечом великого Китая
Плечо сомкнувшая Сибирь!

Сибирь!
И лег и встал — и снова —
Вдоль полотна пути Сибирь.
Но как дремучестью суровой
Еще объят ее пустырь!

Идет, идет в окне экспресса
Вдоль этой просеки одной

Неотодвинутого леса
Оббитый ветром перестой.

По хвойной тьме — березы проседь...
Откосы сумрачные гор...
И все кругом — как бы укор
Из давней давности доносит.

Земля пробитых в глушь путей,
Несчетных верст и редких дымов,
Как мало знала ты людей,
Кому была б землей родимой!

Кому была бы той одной,
Что с нами в радости и в горе,
Как юг иль степь душе иной,
Как взморье с памятной волной,
Как мне навек мое Загорье...

Недоброй славы край глухой.
В новинку твой нелегкий норов.
Ушел тот век, настал другой,
Но ты — все ты — с твоим укором.

И в старых песнях не устал
Взывать с тоской неутолимой
Твой Александровский централ
И твой бродяга с Сахалина.

Да, горделивая душа
Звучит и в песнях, с бурей споря,
О диком бреге Иртыша
И о твоем священном море.

Но, может быть, в твоей судьбе,
И величавой и суровой,
Чего не додано тебе —
Так это мощной песни новой!
Что из конца прошла б в конец
По всем краям с зазывной силой,
И с миллионами сердец
Тебя навеки породнила.

Та честь была бы дорога,
И слава — не товар лежалый,

Когда бы мне принадлежала
В той песне добрая строка...

И снова — сутки прочь, и снова —
Сибирь!
Как свист пурги — Сибирь, —
Звучит и ныне это слово,
Но та ли только эта быль?!

В часы дорожные ночные
Вглядишься — глаз не отвести:
Как Млечный Путь, огни земные
Вдоль моего текут пути.

Над глухоманью вековечной,
Что днем и то была темна.
И точно в небе эта млечность
Тревожна чем-то и скрытна...

Текут, бегут огни Сибири,
И с нерассказанной красой
Сквозь непроглядность этой шири
И дали длятся полосой.

Лучатся в тех угрюмых зонах,
Где время шло во мгле слепой.
Дробятся в дебрях потрясенных,
Смыкая зарева бессонных
Таежных кузниц меж собой.

И в том немеркнущем свеченье
Вдали угадываю я
Ночное позднее движенье,
Оседлый мир, тепло жилья,
Нелегкий труд и отдых сладкий,
Уют особенной цены,
Что с первой детскою кроваткой
У голой лепится стены...

Как знать, какой отрадой дивной
И там бывает жизнь полна —
С тайгою дикой, серединной,
Чуть отступившей от окна;
С углом в бараке закопченном
И чаем в кружке жестяной,—

Под стать моим молодоженам,
Что едут рядом за стеной,
У первой нежности во власти,
В плену у юности своей...

И что такое в жизни счастье,
Как ни мудри, а им видней...

Так час ли, два в работе поезд,
А точно годы протекли,
И этот долгий звездный пояс
Уж опоясал полземли.

А что там — в каждом поселенье
И кем освоена она,
На озаренном протяженье
Лесная эта сторона.

И как в иной таежный угол
Издалека вели сюда
Кого приказ,
Кого заслуга,
Кого мечта,
Кого беда...

Но до того, как жизнь рассудит,
Судьбу назвав, какая чья,
Любой из тысяч этих судеб
И так и так обязан я.

Хотя бы тем одним, что знаю,
Что полон памятью живой
Твоих огней, Сибирь ночная,
Когда все та же, не иная,
Видна ты далее дневной...

Тот свет по ней идет все шире,
Как день, сменяя ночи тьму.
И что!
Какие силы в мире
Потщатся путь закрыть ему!

Он и в столетьях не померкнет,
Тот вещий отблеск наших дней.
Он — жизнь.

А жизнь сильнее смерти:
Ей больше нужно от людей.

И перемен бесповоротных
Неукротим победный ход.
В нем власть и воля душ несчетных,
В нем страсть,
Что в даль меня зовет.

Мне дорог мир большой и трудный,
Я в нем — моей Отчизны сын.
Я полон с ней мечтою чудной —
Дойти до избранных вершин.

Я до конца в походе с нею,
И мне все тяготы легки.
Я всех врагов ее сильнее:
Мои враги —
Ее враги.

Да, я причастен гордой силе
И в этом мире — богатырь
С тобой, Москва,
С тобой, Россия,
С тобою, звездная Сибирь!

Со всем — без края, без предела,
С чем людям жить и счастью быть.
Люблю!
И что со мной ни делай,
А мне уже не разлюбить.

И той любви надежной мерой
Мне мерить жизнь и смерть до дна.
И нет на свете большей веры,
Что сердцу может быть дана.

С САМИМ СОБОЙ

Избыток лет бесповоротных
Не лечит слабостей иных:
Я все, как в юности, охотник
До разговоров молодых.

Я все, как в дни мои былые,
Хоть до утра часов с восьми
Решать вопросы мировые
Любитель, хлебом не корми.

Мне дорог дружбы неподдельной
Душевный лад и обиход,
Где слово шутки безыдейной
Тотчас тебе не ставят в счет.
Где о грядущих днях Сибири,
Пути гвардейского полка,
Целинных землях и Шекспире,
Вреде вина и табака
И обо всем на белом свете
Беспротокольный склад речей,—
Ты лишь у смеха на примете
На случай глупости твоей...

Так вот, как высказано выше,
С годами важен я не стал.
Еще не весь, должно быть, вышел
Живучей юности запал.

Нет, я живу, спешу тревожно —
Не тем ли доля хороша —
Заполнить мой дневник дорожный
Всем, чем полна еще душа;
Что бьется, просится наружу,—
И будь такой ли он, сякой,—
Читатель-друг, я не нарушу
Условий дружбы дорогой.

Согласно принятому плану,
Вернусь назад, рвануть вперед,
Но я, по совести, не стану
За зря вводить тебя в расход.

Я не позволю за мякину
Тебя заманивать хитро.
И не скажу, что сердце выну:
Ему на месте быть добро.

С меня довольно было б чуда
И велика была бы честь

То слово вынуть из-под спуда,
Что нужно всем, как пить и есть.

У бога дней не так уж много,
Но стану ль попусту скорбеть,
Когда не вся еще дорога
И есть что видеть,
Есть что петь.

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

И в захолустье, потрясенном
Всемирным чудом наших дней, —
Старинных зим с певучим стоном
Далеких — за лесом — саней.

И весен в дружном развороте,
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.

И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот,
И слез над книгой дорогой.
И ранней горечи и боли,
И детской мстительной мечты,
И дней, не высиженных в школе,
И босоты, и наготы.
Всего — и скудности унылой
В потемках отчего угла...

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Ни щедрой выдачей здоровья
И сил, что были про запас;

Ни первой дружбой и любовью,
Что во второй не встретишь раз;

Ни славы замыслом зеленым,
Отравой сладкой строк и слов;
Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов —
Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра
Насчет былой и новой власти,
Насчет добра
И недобра...

Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним.
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым.
И иным...

И столько в сердце поместила,
Что диву даться до поры,
Какие жесткие под силу
Ему ознобы и жары.

И что мне малые напасти
И незадачи на пути,
Когда я знаю это счастье
Не мимоходом жизнь пройти.

Не мимоездом, стороною
Ее увидеть без хлопот,
Но знать горбом и всей спиною
Ее крутой и жесткий пот.

И будто дело молодое —
Все, что затеял и слепил,
Считать одной лишь малой долей
Того, что людям должен был.

Зато порукой обоюдной
Любая скрашена страда:
Еще и впредь мне будет трудно,
Но чтобы страшно —
Никогда.

ДРУГ ДЕТСТВА

И дружбы долг, и честь, и совесть
Велят мне в книгу занести
Одной судьбы особой повесть,
Что сердцу встала на пути...

Я не скажу, что в ней отрада,
Что память эта мне легка,
Но мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

В ней и великой нет заслуги —
Не тем помечена числом...
А речь идет о старом друге,
О лучшем сверстнике моем.
С кем мы пасли скотину в поле,
Палили в залесье костры,
С кем вместе в школе,
В комсомоле
И всюду были до поры.

И врозь по взрослым шли дорогам
С запасом дружбы юных дней.
И я-то знаю: он во многом
Был безупречней и сильней.
Я знаю, если б не случиться
Разлуке, горшей из разлук,
Я мог бы тем одним гордиться,
Что это был мой первый друг.

Но годы целые за мною,
Весь этот жизни лучший срок —
Та дружба числилась виною,
Что мне любой напомнить мог...

Легка ты, мудрость, на помине:
Лес рубят — щепки, мол, летят.
Но за удел такой доныне
Не предусмотрено наград.

А жаль!
Вот, собственно, и повесть,
И не мудрен ее сюжет...

Стояли наш и встречный поезд
В тайге на станции Тайшет.

Два знатных поезда, и каждый
Был полон судеб, срочных дел
И с независимостью важной
На окна встречного глядел.

Один туда, другой обратно.
Равны маршруты и права.
— «Москва—Владивосток»? — Понятно.
— Так-так: «Владивосток — Москва»...

Я вышел в людный шум перронный.
В минутный вторгнулся поток
Газетой запастись районной,
Весенней клюквы взять кулек.

В толпе размять бока со смаком,
Весь этот обозреть мирок —
До окончаний с твердым знаком
В словах: «Багажъ» и «Кипятокъ»...

Да, я люблю тебя душевно
И, сколько еду, все не сыт
Тобой, дорожный, многодневный,
Простой и в меру быстрый быт.

Вагон, и эти остановки
Всего бегущего в окне,
И даже самозаготовки
По среднерыночной цене...
Так, благодушествуя вволю,
Иду. Не скоро ли свисток?
Вдруг точно отзыв давней боли
Внутри во мне прошел, как ток...

Кого я в памяти обычной,
Среди иных потерь своих,
Как за чертою пограничной,
Держал,
он, вот он был,
в живых...

Я не ошибся, хоть и годы
И эта стеганка на нем.

Он!
И меня узнал он, с ходу
Ко мне работает плечом.

И чувство стыдное испуга,
Беды пришло еще на миг,
Но мы уже трясли друг друга
За плечи, за руки...
— Старик!
— Старик! —
Взаимной давней клички
Пустое, в сущности, словцо
Явилось вдруг по той привычке.
А я смотрю ему в лицо:

Все то же в нем, что прежде было,
Но седина, усталость глаз,
Зубов казенных блеск унылый —
Словцо то нынче в самый раз,
Ровесник-друг.
А я-то что же?
Хоть не ступал за тот порог,
И я, конечно, не моложе,
Одно, что зубы уберег.
— Старик.

И нет нелепей муки:
Ему ли, мне ль свисток дадут,
И вот семнадцать лет разлуки,
И этой встречи пять минут!

И вот они легли меж нами —
Леса, и горы, и моря,
И годы, годы с их мечтами,
Трудами,
войнами,
смертями —
Вся жизнь его,
Вся жизнь моя...

— Ну вот, и свиделись с тобою.
Ну, жив, здоров?
— Как видишь, жив.
Хоть непривычно без конвоя,
Но, так ли, сяк ли, пассажир

Заправский: с полкой и билетом...
— Домой?
— Да как сказать, где дом...
— Ах, да! Прости, что я об этом...
— Ну что там, можно и о том.
Как раз, как в песенке не новой,
Под стать приходятся слова:
Жена найдет себе другого,
А мать... Но если и жива...

— Так. Ты туда, а я обратно...
— Да, встреча: вышел, вдруг—смотрю...
— И я смотрю: невероятно...
— Не куришь?
— Как еще курю!..

Стоим. И будто все вопросы.
И встреча как ни коротка,
Но что еще без папиросы
Могли мы делать до свистка?

Уже его мы оба ждали,
Когда донесся этот звук.
Нам разрешали
Наши дали
Друг друга выпустить из рук...

— Пора!
— Ну что же, до свиданья.
— Так ты, смотри — звони, пиши...
Слова как будто в оправданье,
Что тяжесть некая с души.

И тут, на росстани тайшетской,
Когда вагон уже потек,
Он, приободрившись молодецки,
Вдруг взял мне вслед под козырек.

И этот жест полушутливый,
Из глаз ушедший через миг,
Тоской безмолвного порыва
Мне в сердце самое проник.

И все.
И нету остановки.

И не сойти уже мне здесь,
Махнув на все командировки,
Чтоб в поезд к другу пересесть.

И от нелегкой этой были,
На встречной скорости двойной,
Мы в два конца свои спешили
Впритирку с ветром за стеной.

Бежал, размеченный столбами,
Как бы кружась в окне, простор.
И расстоянье между нами
Росло на запад и восток.

И каждый миг был новой вехой
Пути, что звал к местам иным...

А между тем я как бы ехал
И с ним, товарищем моим.

И подо мной опять гудела
В пути оставленная сталь.
И до обратного предела
Располагалась та же даль.

И от вокзала до вокзала
Я снова в грудь ее вбирал:
И тьму тайги, и плес Байкала,
И степь, и дымчатый Урал.

И к Волге-матушке с востока
Я приближался в должный срок,
И, стоя с другом локоть в локоть,
Ее заранее стерег.

А через сутки с другом вместе,
Вцепившись намертво в окно,
Встречал столичные предместья,
Как будто их давным-давно,
Как он, не видел. И с тревогой
В вокзальный тот вступал поток...

А между тем своей дорогой
Все дальше ехал на восток.

И разве диво то, что с другом
Не мог расстаться я вполне?
Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне.
Он сердца был живою частью,
Бедой и болью потайной.
И годы были не во власти
Нас разделить своей стеной.
И, не кичась судьбой иною,
Я постигал его удел.
Я с другом был за той стеною.
И ведал все.
И хлеб тот ел.

В труде, в пути, в страде походной
Я неразлучен был с одной
И той же думой неисходной,—
Да, я с ним был, как он со мной.

Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.

И те же радости и беды
Душой сыновней ведал он:
И всю войну,
И День Победы,
И дело нынешних времен.

Я знал: вседневно и всечасно
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну?
При чем же здесь страна!

Он жил ее мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперед.
Винить в своей судьбе жестокой
Народ?
Какой же тут народ!..

И минул день в пути и вечер.
И ночь уже прошла в окне,
А боль и радость этой встречи,
Как жар, теснилися во мне.

Врываясь в даль, работал поезд,
И мне тогда еще в пути
Стучала в сердце эта повесть,
Что я не вправе обойти.

Нет, обойти ее — не дело
И не резон душе моей:
Мне правда партии велела
Всегда во всем быть верным ей.

С той правдой малого разлада
Не понесет моя строка.
И мне свое исполнить надо,
Чтоб в даль глядеть наверняка.

ФРОНТ И ТЫЛ

Быть может, этот спор дорожный,
Порой почти пустопорожний,
Но жаркий — грудь на грудь, в упор —
В вагоне шел бы до сих пор,
Не встрянь с улыбкой осторожной
И легким вздохом мой майор.

А может, перед вспышкой новой
Он сам собою поостыл,
Всегда, везде зайти готовый
Тот спор на тему:
Ф р о н т и т ы л...

Давно война отгрохотала,
Давно в страде иной страна,
Свои убытки наверстала,—
Душа, казалось бы, полна.

Однако,— нужды нет лукавить,—
Душа, минуя давность лет,
Той горькой памяти оставить
Еще не может и — нет-нет —
В тот самый заступает след.

И неизмеренное море
Печали, тяжких мук и горя

Что вновь и вновь родится в споре
На эту тему:
Фронт и тыл.

Он возникает не по знаку
Организованных начал,
А сам собой и тоже всяко:
То днем, а то и по ночам.

В пути, в гостинице, в больнице,
На переправе затяжной,
В районе, в области, в столице,
В гостях и дома,— хоть с женой.
В бараке, в клубе и сторожке,
В тайге, в степи, на целине,
«На кукурузе», «на картошке»,—
Как говорят еще в стране.
На даче, на горячем пляже,
В Крыму и в заполярной тьме,
Во льдах торосистых, и даже,
Не диво, если и в тюрьме...

Но время лучшее для спора,
Когда Москва его исток,
А устье — где-то там, не скоро,
В конце, вдали — Владивосток.

Итак, в дороге три-четыре,
А то и пять, пожалуй, дней
Шел спор о фронте и о тыле,—
Не что важней,
А где трудней.

Спор в постановке чисто русской:
Где круче в смысле всех страстей —
Обычной на душу нагрузки,
Жары,
морозов
и харчей.

Горячность пылкая без меры
Со стороны фронтовика,
Минувшей службы офицера
Рвалася вон из пиджака.
Казалось, был он кровный, личный,

Извечный враг тыловиков,
Да и оратор был каков!—
Куда там — наш трибун столичный,
Любимец публики Сурков.

Казалось так в разгаре спора,
Что он, случись в иную пору,
Отцу б родному не простил,
Когда бы с цехом иль конторой
Старик нестойкий убыл в тыл,
И под огнем на фронте не был,
Не отступал за Днепр и Дон...

Должно быть, там с овчинку небо
Однажды сам увидел он.
И это тяжкое виденье
Он нес теперь сквозь жизнь свою,
Крутого полон озлобленья
На всех, кто не был в том бою...

Зато его противник в споре
Прощал охотно старика.
И о своей тех лет конторе
Он дал понять издалека.

На пафос тот, отчасти зверский,
Он отвечал — уму учил —
С улыбкой мягко-министерской
Больших секретарей-мужчин,
Что лишены обычной страсти
И с правом входа на доклад
Располагают большей властью,
Чем тот, при коем состоят...

Сперва с усталостью заметной
Он пояснил, что не секрет:
В наш век — век атомно-ракетный —
Былых понятий фронта нет,
Как нет былых понятий тыла.
Но с точки зренья прежних дней
Понятно, где труднее было:
В тылу у нас — куда трудней.

Он так сказал: ходить в атаки
И умирать, коль выпал час,

Есть тот гражданский долг, что всякий
Обязан выполнить из нас.

Он к месту вспомнил утвержденья
Самих прославленных вояк,
Что нет героев от рожденья,—
Они рождаются в боях.

И возразить, казалось, нечем,
Когда вздохнул он тихо:
— Но... —
В тылу, мол, дело обеспечить
Уже не всякому дано.

И в правоте неоспоримой
Подвел черту, как говорят:
Тыл фронту, верно, брат родимый,
Но он сказал бы:
Старший брат.

Сказал — гляди, куда как метче —
И с новым вздохом повторил:
Тыл — старший брат, за все ответчик,—
И потому избрал он тыл.
Ему в годину испытаний
Крепить его велел закон.
С ним разговаривать не стали,
Когда на фронт просился он...

И, дескать, несколько неловкий,
По меньшей мере, этот спор,
При современной обстановке
Он лишь несет в ряды раздор...

И тут как раз вздохнул майор.
Майор, молчун тяжеловатый,
Что был курить да спать здоров,
Сказал с улыбкой виноватой:

— Скажу сперва насчет рядов...
Зачем же вдруг!.. Ряды — рядами.
И от беседы нет беды,
Поскольку мы же с вами
Сами
И есть те самые ряды...

Теперь насчет меньшого брата,
Скажу, не хвастаясь отнюдь,
Что от солдата
До комбата
Я сам прошел когда-то путь.

И что, причастный с ополченья
К боям, походам и котлу,
Я вправе сделать заключенье:
На фронте — легче, чем в тылу.

Я поясню, — сказал он, видя
Смущенье спорящих сторон,—
Не к чьей-нибудь из вас обиде
И чистой правде не в урон.
Как говорил один нестарый
Мой из запаса рядовой,
Знаток и той, что он оставил,
И этой жизни, фронтовой:
«Воюй — и все твое с тобой».

Мол, все по форме и по норме:
О чем заботиться тебе?
Случись, что если не накормлен,—
Так это есть уже ЧП.
В твое траншейное жилище,
У самой смерти на глазах,
К тебе ползут с горячей пищей
И даже с чаем в термосах.

Твой килограмм, с надбавкой, хлеба,
Твой спецпаек
И доптабак
Тебе должны доставить с неба,
Раз по земле нельзя никак.

С жилищем — тоже много проще:
Дворец ли, погреб —
Все твой дом.
Ни доставать прописку теще,
Ни уплотнять ее судом.

Что в жизни нужно — все бесплатно,
За все ответчица — казна.

Убьют иль ранят?
Фронт.
Понятно.
И не твоя уже вина.

В той жизни — долгой иль короткой —
Уж там добро иль недобро,—
Тебя согреть спешат и водкой
И сводкой
Совинформбюро.

В недальнем следуя обозе,
Почти в бою — тебе хвалу
Вовсю поют в стихах и прозе
Твои певцы.
А что в тылу!

В тылу совсем не та картина,
Хотя все то же существо.
Во-первых, если ты мужчина,
То вроде как-то не того...

Опять же кухня полевая
Тебе не придана в тылу.
Посеял карточки в трамвае —
Садись к заочному столу.

И та опаска всем знакома:
В тылу проштрафился чуть-чуть,
Глядишь, привет от военкома:
Прошу зайти.
И — в добрый путь.

На фронте нет того в заводе,
Чтоб опасаться: вдруг да в тыл?
Ошибся в роте, так во взводе
Исправишь все, что допустил.

И даже если ты там штуку
Уже подсудную удрал,
То ни к чему тебя в науку
Возить куда-то на Урал,
Писать от фронта открепленье,
Давать в дорогу аттестат.
Нет, где вина — там искупленье,—

Всегда поблизости штрафбат.
На месте весь тебе зачтется
Тот срок к недальнему числу
Без упущенья в производстве,
Как это водится в тылу.—
С пристрастьем слушали майора
Два главных спорщика в купе.
Но самый след крутого спора
Уже по новой шел тропе.

Все ближе, ближе постепенно
К сужденьям тем склоняли слух
И наш профессор, и военный
Моряк, и врач, и все вокруг...

И в орденах старик кудрявый
Не усидел в своем углу,
Тряхнул своей безвестной славой:
— Нет, легче все-таки в тылу.

Как ни хотите — легче трошки... —
Успех майора он учел.—
Уже одно, что нет бомбежки,
А есть — так в шахте нипочем.

— Смотря какая бомба-дура,—
Поправил кто-то старика.
Но тот сказал:
— Нет, жизнь горька,
Как под землей без перекура,
А наверху — без табака...

— Ах, в табаке ли только дело,—
Включился вздох со стороны.—
В одном равны душа и тело,—
Что легче — вовсе без войны...

Тот вывод с благостной печалью
Кивком почтенной головы
Одобрил попик наш с медалью
Восьмисотлетия Москвы.
Но означал его уместный
Простой кивок-полупоклон,
Что, может, волею чудесной
И сверх того, что всем известно,
Он кое в чем осведомлен...

А мой майор невозмутимый,
Со слов солдата выдав речь,
На весь вагон добавил дыма
И вновь намерен был залечь...

Солдатской притчи юмор грубый
Улыбкой лица подсветил,
И сам собой пошел на убыль
Тот спор на тему: фронт и тыл.

За новой далью скрылся город,
Пошли иные берега,
Тоннели, каменные горы,
Вверху — над окнами — тайга.

По кругу шли обрывы, пади,
Кремнистой выемки откос.
И те, что в душу мне вступали,
Слова горели жаром слез.

И не хотел иных искать я,
Затем, что не новы они.
Да, тыл и фронт — родные братья,
И крепче в мире нет родни.

Богатыри годины давней
И в славе равные бойцы.
Кто младший там, кто старший —
главный, —
Неважно:
Братья-близнецы.
И не гадали — кто, который,
Кому по службе подчинен,
Оставив эти счеты-споры
Для мирных нынешних времен...
Но не иссякнуть этой теме,
Покамест есть еще в живых
И те, что сами знали бремя
Часов и суток фронтовых;
И те, кому в завидных далях,
В раю глубоком тыловом
У их станков и наковален
Был без отрыва стол и дом.

И после них не канут в нетях
Та боль, и мужество, и честь.

Но перейдет в сердца их детям
И внукам памятная песнь.
О том, как шли во имя жизни
В страде — два брата, два бойца,
Великой верные Отчизне
Тогда.
И впредь.
И до конца.

МОСКВА В ПУТИ

Вагонный быт в дороге дальней,
Как отмечалось до меня,
Под стать квартире коммунальной,
Где все жильцы — почти родня.

Родня, как есть она в природе:
И та, с которой век бы жил,
И та, с которой в обиходе
Столкнешься утром —
День постыл.

И есть всегда в случайном сборе
Соседей — злостный тот сосед,
Что любит в общем коридоре
Торчать, как пень, и застить свет.

И тот, что спать ложится рано,
И тот бессонный здоровяк,
Что из вагона-ресторана
Приходит в полночь «на бровях».

И тот, что пьет всех больше чая,
Притом ворчит,
Что чай испит,
И, ближних в храпе обличая,
Сам, как зарезанный, храпит.

И тот, что радио не любит,
И тот, что слушать дай да дай,
И тот, и всякий...
Словом, люди,
В какую их ни кинуть даль.

И на путях большого мира
Мне дорог, мил
И этот мир...

Съезжает вдруг жилец с квартиры,
Вдруг сходит спутник-пассажир...

И пусть с тобой он даже спички
Не разделил за этот срок,
Но вот уже свои вещички
Он выдвигает за порог.

Вот сел у двери отрешенно —
Уже на убыль стук колес,—
Вот встал и вышел из вагона,
И жизни часть твоей унес...

Но это что! Иное дело,
Когда, как водится в пути,
Знакомство первое успело
До дружбы, что ли, дорасти.

Читатель, может быть, припомнит
Молодоженов-москвичей,
Что в стороне держались скромно,
Дорогой заняты своей,
Своей безмолвною беседой
Про тот, наверно, край земли,
Куда они впервые едут
В составе собственной семьи.

Когда пошли уже к Уралу
Холмы — заставы главных гор,—
Супруги юные помалу
Втянулись в общий разговор.

Должно быть, так, что с непривычки
Взгрустнулось,— критик, погоди:
Не версты дачной электрички,
А вся Европа позади.
И, отдаваясь этой дали,
Что открывалась душам их,
Они с отрадой обретали
Опору в спутниках своих.

И постигали въявь при свете
Дневном на этом рубеже,
Что — да, они уже — не дети,
И счет пошел иной уже...

Расспросы, толки, тары-бары...
Уже, проход загородив,
Вокруг и возле этой пары
Вагонный сладился актив.

На всех пахнуло в самом деле
Как будто временем иным,
И все по-своему хотели
Не сплоховать при встрече с ним.

Не оттолкнуть почтенной спесью:
Мол, то ли дело в наши дни...
Не затянуть унылой песни
Во вкусе матушки-родни —
Той, чьи советы, поученья
И справки — в горле у детей:
Насчет превратностей снабженья
И климатических страстей.

Но все ж избыточное время
В пути заставило и нас
Отдать свой долг обычной теме,
Что все имеют про запас.

Мол, край земли — оно понятно,
И в шалаше с любимым — рай.
Но на Арбат попасть обратно
Сложнее, чем на этот край.

Да, да. Не всем в аспирантуру, —
Нет, нужно в жизнь пойти сперва.
Но взять Калинин либо Тулу:
И жизнь, и в трех часах Москва.

Беда, что все до меду падки,—
Себе не враг никто живой:
Тот строит город на Камчатке,
А дачу лепит под Москвой.

Тот редкой верностью Сибири
Уже повсюду знаменит,

А там, в столице, на квартире
Жена за сторожа сидит...

И, кстати, речь зашла о женах,
Особо любящих Москву,
Что хоть в каких ютятся зонах,
Лишь ею грезят наяву.

Хоть где-то, где-то, чуть маяча,
Изводит души до беды
Москва — мечта,
Москва — задача,
Москва — награда за труды.

А впрочем, если виновата
Она — Москва — какой виной,
Так разве той, что маловато
На всех, про всех ее одной.
И хоть бы втрое растянулась,
Так не вместиться всем в одну...

Но не твое ли время, юность,
Нести ее на всю страну?
В леса и степи до предела
Идти со связью от нее.
То не твое ли нынче дело,
Друг верный, молодость?.. Твое!

Твое по праву и по нраву.
Твое по счету голосов.
Несет тебе и честь и славу
Земли родимой этот зов.

Не для того тебя растили
И сберегали, как могли,
Чтоб ты в поре своей и силе
Чуралась матери-земли.

Земли нетоптаной, нерытой,
Таящей зря свои дары,
Необжитой, недомовитой
И небом крытой
До поры.

Тебе сродни тех далей ветер.
Ты знаешь, очередь твоя —

Самой в особом быть ответе
За все передние края.

За всю громоздкую природу,
Что в дело нам отведена,
За хлеб и свет, тепло и воду,
За все,
Чем в мире жизнь красна...

Прошу учесть, читатель строгий,
Что у стиха свои права:
Пусть были сказаны в дороге
Не эти именно слова.
И за отсутствием трибуны
Шла речь обыденней вдвойне...

Но вот супруг, наш спутник юный,
Вдруг поднял руку:
— Дайте мне.—

Он старшим был в их славной паре
И, видно, парень с головой,
Из тех, что в трудном семинаре
Резон отстаивают свой.

— Позвольте мне,— сказал он тихо.
Мы сами вызвались сюда.
Хоть знаем все, почем там лихо,
Но сами... Просто — от стыда.

Да! Что же: речи, песни, письма,
А как до дела — так меня
Авось хоть в ту же Тулу втиснет
Руководящая родня...

И нужды нет притом лукавить,
Что мне Москва не хороша,
И что не жаль ее оставить,
И не лежала к ней душа.

Зачем выдумывать пустое,—
Вдали она еще милей.
Еще теплей.
Но разве стоят
Те блага — совести моей!

Бочком ходить, светить глазами —
Была бы нам судьба тошна.
Иную мы избрали сами,
Я правду говорю, жена?

Мы с ним в купе сидели рядом,
И та из своего угла
Его влюбленным, долгим взглядом,
Не отрываясь, берегла.

И не впервые вслух, должно быть,
Она сказала те слова,
Что про себя имели оба:
— Где мы с тобой, там и Москва...

И даже чуть плечом пожала —
Мол, знаешь сам: ответ готов.
И все признали, что, пожалуй,
Не скажешь лучше этих слов.

Пусть жизнь своею жесткой меркой
Измерит емкость их потом,
Когда любовь пройдет проверку
И обживет свой новый дом.

Но это доброе присловье —
Залог и дружбы и семьи.
И с ним полезен для здоровья
Любой на свете край земли...

Тот край, тот мир иной — до срока
Он не вступал еще в права.
И от Москвы, как ни далеко,
То все еще была Москва.

Москва, что дали рассекала
Своей стальною колеей,
Тайга ли, степи или скалы,—
Все это было за стеной.
Все за окном неслось вагонным,
А тут, внутри, была она
С ее уютом, протяженным
До крайней шпалы полотна.

Тут из конца в конец державы,
Защищена от непогод,

Она тепло свое держала
И свой столичный обиход.

И если поезд передышку
Себе в работе позволял,
Там был хоть малый городишко —
Москвы образчик, хоть вокзал,

Хоть водокачка — знак приметный
Культуры с дедовских времен.
Хоть «Пиво — воды», хоть газетный
Киоск, закрытый на ремонт...

Так час за часом вдаль столица
Свою разматывает нить,
Пока не время с ней проститься,
С ее подножки соступить.
И очутиться вдруг в Сибири,
В полубезвестной точке той,
Что для тебя в подлунном мире —
Отныне дом и адрес твой,
Где жить и быть, располагаться,
Топтать земли тот самый край,
Брать в оборот его богатства.
И вот когда, Москва, прощай!

Она помедлит там учтиво,
Но тихо тронется состав,
И канет в далях это диво...
Ты не случайно ли отстал?
Не побежишь за этим спальным,
Цепляться, виснуть как-нибудь?
Нет? Все в порядке, все нормально?
Тогда живи и счастлив будь.

И мы своим молодоженам,
Когда настала их пора,
На остановке всем вагоном
Желали всякого добра.

Как будто мы уже имели
На них особые права.
Как будто мы их к этой цели
И подготовили сперва.

Как будто наша в том заслуга,
Что старше мы друзей своих.
Как будто мы их друг для друга
Нашли и поженили их...

И вот они на том вокзале,
Уже в толпе других людей...
И мы глядим на них глазами
Минувшей юности своей.
Глазами памяти суровой
И светлой — тех ушедших лет,
Когда по зову жизни новой
Мы брали дальний свой билет...

Все та же даль. Но годы — те ли!
Мы юным сменщикам своим
Сказать, быть может, не хотели,
Как мы завидовали им.

Полна, красна земля родная
Людьми надежных душ и рук.

Все та же, та же, да иная
И даль,
　　и жизнь,
　　　　и все вокруг...

НА АНГАРЕ

В крутые памятные сроки
Я побывал на Ангаре,
Когда особая для стройки
Была задача на поре.

Она была для многих внове,
Видавших всякие жары,
Все, словом, было наготове
Для перекрытья Ангары.
Все начеку, чтоб разом прянуть
На приступ: люди — до души,
Борта машин, и стрелы кранов,
И экскаваторов ковши.

А между тем река играла
Крошила берег насыпной,

Всю прибыль мощных вод Байкала
В резерве чуя за собой.

Играла беглыми цветами
И, вся прозрачная до дна,
Свиваясь длинными жгутами,
Неслась, дика и холодна.

Крутой отсвечивая гладью,
Гнала волну волне вослед,
Как будто ей и толку нет,
Что люди вправду пядь за пядью
К ней подбирались столько лет.

Что не на шутку шли подкопом
В пластах породы и песков,
Призвав сюда немалый опыт
С иных далеких берегов.

Что эта сила,
С флангов, с тыла
Пододвигаясь день за днем,
На клетки плес разгородила,
Прошла по дну и подо дном;
Вдавила вглубь рубеж бетонный,
Стальной решеткой проплетенный,
Недвижно вечный, как скала,
И, выбрав наверх гравий донный,
Громаду-насыпь возвела;

И в ней из хитрого расчета,
Убавив исподволь простор,
Реке оставила ворота,
Чтоб взять их завтра на запор.

Уже был связан мост понтонный
На быстрине — звено в звено,—
Откуда груз тысячетонный
В свой час низринется на дно.

Тот час уже в окно стучался
Не без торжественных затей:
Съезжались гости и начальство
Различных рангов и статей.

Корреспондентов специальных
Нетерпеливая орда —
Одной и вместе с тем «Центральной»
В те дни гостиницы страда.

Сбивалось множество народу,
Толпясь, глядеть на эту воду
И переглядываться:
— Д-да...

Предположенья, слухи, толки,
Сужденья вольных знатоков
О недостатках подготовки,
О риске и перестраховке
И установке
От верхов.

Но и о том, как эти воды,
Подобно волжским и иным,
Уже не дар, а дань природы —
Войдут в назначенный режим.

Подтянут к центрам захолустья,
Дадут запев Сибири всей.
А там еще и Братск и Устье,
А там и братец Енисей,
А там...

Жестокий в Приангарье —
Под стать зиме — держался зной,
Уже сдавалось — пахнет гарью,
Бедой извечною лесной,
Что со ствола на ствол смолистый
Бежит, как белка, налегке
И в трубку скручивает листья
Зловещим жаром вдалеке;
И сна лишает край таежный,
И расставляет в цепь войска,
И самолетов гул тревожный
Заводит в небе...

А река,
Шурша, жгуты свои свивала,
И от лихой жары тех дней
Вода студеная с Байкала
Еще казалась холодней.

Неслась, красуясь мощью дикой,
Шипучей пеной на груди...

Все наготове.
А поди-ка,
Встань поперек.
Загороди!..

С утра, с утра
В тот день
воскресный,
Во что горазд принаряжен,
И городской народ и местный,
И свой на стройке и безвестный,
Забрав подруг своих и жен
С детьми,— на праздник необычный
Теснился, точно в ГУМ столичный,
Ломился грудью, чтоб места
Занять поближе у моста.

И в самый полдень, как ни жарок,
Не убывал людской напор.
И пестр, и ярмарочно ярок,
И вместе строг был этот сбор.

Один глазел —
Врожденный
зритель,
Любитель истый — стар ли, мал,
Другой как раз был сам водитель,
Но в эту смену не попал.

А та пришла, чтоб видеть сына
Иль мужа в самый этот час,
Когда к воде его машина
Пойдет под тысячами глаз;

А кто-то дочку
По платочку,
А кто подружку на посту
Среди построенных в цепочку
Регулировщиц на мосту —
Распознавал...
Но в этом сборе
Невольно каждый брал в расчет,

Что тут народ —
Не на футболе,
Что праздник — праздник, да не тот.
И речь не та, и смех. и шутки...

А там, у самой Ангары,
Собрался штаб в тесовой будке,
Как улей, душной от жары.

Все службы стройки там сидели —
Воды, земли, колес, дорог.
Но всем уже речам о деле,
Как перед боем, срок истек.

Последним кругом для порядка
Поверка старших обошла,
И, на часы взглянув украдкой,
Начальник встал из-за стола.

С последней доброю затяжкой
Вздохнул — как будто с плеч гора.
И виды видевшей фуражкой
Стол обмахнул.
— Ну что ж, пора.
— Пора!

И враз моторы взвыли,
Секунд своих не упустив.
И самосвалы в клубах пыли
Взошли на пляшущий настил,
И развернулись по теченью
Реки — во всю длину моста;
И строем — в ряд, — как на ученье,
Над кромкой вздыбили борта.

Рванулся вниз флажок сигнальный,
И, точно взрыв издалека,
Громовый взрыв породы скальной
Толкнулся в эти берега.
Так первый сброс кубов бетонных,
Тех сундуков десятитонных,
Раздавшись, приняла река...

Она грядой взметнулась пенной,
Сверкнула радугой мгновенной
И, скинув рваную волну,
Сомкнулась вновь.

И видно было,
Как этот груз она катила,
Гнала по каменному дну.

И над ее волной верченой,
Бренча оснасткою стальной,
Мост всколыхнулся, облегченный,
И, вновь подняв заезд груженый,
Прогнулся вровень с той волной.

И снова — в очередь машины,
Под грузом тужась тяжело,
На цель с боков и середины
Зашли.
И так оно пошло.

С погрузки на́ мост, с моста в гору —
Заезд в заезд смыкался круг.
И был любой шофер шоферу
Как будто кровный брат и друг.
В таком взаимном береженье,
Блюдя черту —
Бортом к борту,—
Кругообразное движенье
Не прерывалось на мосту.

Еще тревожная задача
Наружный сдерживала пыл,
Как бой, что был красиво начат,
Но только, только начат был.
И был труднее с каждым часом
В разгаре памятного дня:
Не подоспей боеприпасы —
Бой захлебнется без огня...

Машины шли, теснясь и пятясь,
Держась на той струне тугой:
Не сплоховать,
Не сбавить натиск,
Не проморгать беды лихой...

То был порыв души артельной,
Самозабвенный, нераздельный,—
В нем все слилось — ни дать ни взять:
И удаль русская мирская,
И с ней повадка заводская,
И строя воинского стать,

И глазомер, и счет бесспорный,
И сметка делу наперед.

Сибиряки!
Молва не врет,—
Хоть с бору, с сосенки народ,
Хоть сборный он, зато отборный,
Орел-народ: как в свой черед
Плечом надежным подопрет,—
Не подведет!

Сибиряками
Охотно все они звались,
Хоть различались языками,
Разрезом глаз и складом лиц.
Но цвет был общего закала:
Сибири выслуженный дар —
Под слоем летнего загара
Еще там зимний был загар.

Тут были: дальний украинец
И житель ближних мест — бурят,
Казах, латыш, и кабардинец,
И гуще прочих — старший брат.

И те, кого сюда чин чином
Везли с путевкой поезда,
И те, что по иным причинам
Однажды прибыли сюда.
В труде отбыв глухие сроки,
Перемогли урок жестокий,—
Всего видали до поры,
Бывали дальше Ангары...
Но все теперь как будто дивом,
Своею нынешней судьбой,
Одним охвачены порывом,
В семье сравнялись трудовой,
В сыновней службе не лукавой,
Огнем ученые бойцы.
Деньга — деньгою,
Слава — славой,
Но сверх всего еще по нраву
Класс показать.
Самим по праву
Сказать:
«А что — не молодцы?»

Как дорог мне в родном народе
Тот молодеческий резон,
Что звал всегда его к свободе,
К мечте, живущей испокон.
Как дорог мне и люб до гроба
Тот дух, тот вызов удалой
В труде,
В страде,
В беде любой,—
Тот горделивый жар особый,
Что — бить — так бей,
А петь — так пой!..

Гори вовеки негасимо
Тот добрый жар у нас в груди —
И все нам впору, все по силам,
Все по плечу, что впереди!

Немало жито-пережито,
Что хочешь будь и впредь со мной,
Ты здесь — венец красы земной,
Моя опора и защита
И песнь моя —
Народ родной!

...День отпылал над сталью плеса
И долгий зной увел в закат.
Все так же по мосту колеса
Держали свой тяжелый лад.

Свергали в воду самосвалы
Свой груз — казалось, там — гора.
Как в прорву все. Как не бывало,
И Ангара —
Как Ангара.

Огнем прожекторных лучей
Играла,— все на свете реки
Могли завидовать бы ей.

В лучах играла вся окрестность,—
Сверкала, что дворцовый бал.
И неохотно люд воскресный
Домой с площадки убывал.

Работам ночь не помешала,
Забыто было есть и пить,
И смена смене не желала
Добром штурвалы уступить.

И ночь прошла.
И новый полный
День на дежурство заступил.
И все вились жгутами волны,
Все тот же был
Байкальский тыл.

И только в полдень, в лад со сроком,
Что был назначен неспроста,
Как над невидимым порогом,
Вода забилась у моста.

И, крупной пеной богатея,
Пошла в десяток рукавов,
Когда означились над нею
Углы бетонных сундуков.

Ярясь, грозясь, кипела пуще,
Гремел с бортов за сбросом сброс,
Над быстриной, ревмя ревущей,
Ходил гармонью зыбкий мост.

За сбросом сброс гремел в придачу,
Росла бетонная гряда.
Но не хотела стать стоячей
Весь век бежавшая вода,
Не собиралась кончить миром...

Я помню миг, как тень беды
Прошла по лицам командиров,
Не отходивших от воды.

Ей зоркий глаз людской не верил...
Чуть стихла, силы притаив,
И вдруг, обрушив левый берег,
В тот узкий кинулась прорыв...

Слова команды прозвучали,
Один короткий взмах флажка —
И, точно танки РГК,
Двадцатитонные «минчане»,
Качнув бортами, как плечами,
С исходной, с грузом — на врага.

И ни мгновенья передышки —
За самосвалом — самосвал,
Чтоб в точку!
В душу!
Наповал!

Так путь воде закрыл завал.
И оператор с киновышки
Хватился поздно — кадр пропал.

И, знать, для сходного конфуза,
На верхотуре выбрав пост,
Отваги полный, член Союза
Художников сидел, как дрозд.

Высоким долгом, не корыстью,
Он в эти движим был часы —
У Ангары своею кистью
Перехватить ее красы.

Но жалок был набросок смутный,
Не поспевала кисть вослед
Реке, менявшей поминутно
Своей волны летучий цвет.

И я над кипенью студеной,
В числе растроганных зевак,
Стоял, глазел, как пригвожденный...

Начальник подошел.
— Ну, как?
Поэма будет? Чем не тема!

И я, понятно, не простак,
Ответил:
— Вот она, поэма! —
Он усмехнулся:
— Так-то так...

Под нами шла река, стихая.
Мы понимали — он и я:
Поэма, верно, неплохая,
Да жаль: покамест не твоя...
Тем часом мост махал флажками,
Не остывая, длился бой.
Вслед за кубами-сундуками
Пошел в отгрузку дикий камень,
Бетонный лом, кирпичный бой...

Уже бульдозеры, направив
На перемычку лемеха,
Пошли пахать песок и гравий,
На ней сближая берега.

Уже слабел напор в запруде.
Но день тревожен был и труден,
Дождем грозился тяжкий зной.
Как на лугу, спешили люди
С последней справиться копной.

Курил начальник, глядя в воду,
Предвестьем скрытно удручен.
Он знал, что не бюро погоды,
Нет, и за дождь ответит он.
Седой крепыш, майор запаса,
По мерке выверенной сшит,

Он груз и нынешнего часа
Нес, как солдату надлежит.
Мол, тяжелей — как без привычки,
А наше дело — не впервой.

И в гром работ на перемычке
Ворвался праздный, гулевой
Гром сверху.
Капли забренчали
По опорожненным бортам...
— Ну, хлопцы, не было печали.
Держись!.. —
И все держались там.

Закиселилась, как трясина,
На съезде глинистая грязь...

Свалив свой груз, одна машина
Вдруг задом, задом подалась
К воде. Мотор завыл натужно...
— Ребята! — вскрикнул бригадир.
Вцепились.
— Ра́з-два
Взяли!
Дружно! —
В боях испытанный буксир.
Вздохнули все, расправив спины.
Не веря сам, что он живой,

Водитель вылез из кабины,
Как из-под крышки гробовой,
И огляделся виновато.
Тут смех и ругань:
— Эх, тулуп! —
И вывод, может, грубоватый:
— Механизация, ребята,
Проходит тоже через пуп...

И все веселыми глазами —
И пожилые и юнцы —
Блестели, хоть и не сказали
Тех слов:
«А что — не молодцы?»
Короткой сверзившись напастью,
Дождь оторвался от земли.
И в вечер сумерки ненастья
И в ночь без грани перешли...

Победа шла с рассветом ранним,
Облитым с ночи тем дождем.
Река еще текла в проране,
Но тихо было под мостом.

Теперь она была похожа
На мелкий в каменистом ложе
Разгон теряющий поток.
Потом —
На горный ручеек,
Что мог перешагнуть прохожий,
Не замочив, пожалуй, ног.

Осталось двум бульдозеристам
Завалом влажным и зернистым
Угомонить и тот ручей,
Что был меж них чертой ничьей.

Лицом к лицу — попеременно —
То задний ход,
То вновь вперед...
На них двоих уже вся смена
Глядела — кто же перейдет.

Сближая гравий планировки,
Вели тот спор между собой
Один — в заношенной спецовке,
Другой — в тельняшке голубой.

Ждала, глядела, замирая,
Вся смена, сбившись на мосту,
Тому и этому желая
Скорее выйти за черту.

Был налицо их пыл горячий:
Кому открыть по гребле путь.
Но с виду — словно той задачей
Не озабочены ничуть.

Пошел, пошел по самой бровке
Тот, что в тельняшке. Заспешил.
Затор!
И первенство —
спецовке.
И оба спрыгнули с машин.

Да, это видеть было надо,
Как руку встретила рука.
Как будто, смяв войска блокады,
Встречались братские войска.
Двух встречных армий
Два
солдата —
Друг другу руки жмут ребята.

Аплодисментов дробный град
Затихнул.
Щелкнул аппарат...

Что дальше делать — вот задача.
Вдруг кто-то в голос
Сверху
вниз:
— Целуйтесь, черти! —
Чуть не плача,
Вскричал. И хлопцы обнялись.

Минула памятная веха,
Оставлен сзади перевал.
И тут уже пошла потеха,—
Я сам кого-то обнимал...

Со всех бессонье и усталость —
Долой.
Одна под смех кругом

Девчонка слабо отбивалась
От парня свернутым флажком...
Тот час рассветный, небывалый,
Тот праздник дерзкого труда
Я не забуду никогда...
Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..
Кто так, как ты, еще на свете
До слез порадоваться мог
Речам, глазам и людям этим!
Зачем же голос твой умолк?..

Все выше, словно по ступеням,
Шел торжества отрадный час.
Спецзавтрак был объявлен смене
И краткий праздничный приказ.

Уже народ подался с моста,
Гадая в простоте сердец,
По полтораста или по сто
На брата выйдет этот «спец»...

Шутила зрелость, пела юность.
И, чистым пламенем горя,
С востока тихо развернулась
В треть неба дымная заря.

Над лесом кранов, эстакадой,
Над главной насыпью-горой,
Над юным городом по скату,
Над Ангарой,
Над Ангарой —
Заря,
Заря прошла, сгорая
При свете утренней поры,
И следом солнце красным краем —
Большое — вышло из горы.

Блестела светом залитая,
Дождем обмытая трава...

Ах, как горька и неправа
Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова...

На стройке день вставал обычный,
Своих исполненный забот.

И отбывал уже столичный
И прочий гостевой народ.

Уже смекал я, беспокоясь,
Какой за этот жаркий срок
Ушел по счету дальний поезд
На Дальний, собственно, Восток.
В твой край отцовский, изначальный,
Тобой прославленный.

Прости,
Но только памятью печальной
Одной не мог я жить в пути.

Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль.

И память ныне одоленной,
Крутой ангарской быстрины,
Как будто замысел бессонный,
Я увозил на край страны.

К КОНЦУ ДОРОГИ

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба,
Что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.

И транссибирской магистралью,
Кратчайшим, может быть, путем,
Связала с нашей главной далью
Мой трудный день
И легкий дом.

Судьба, понятно, не причина,
Но эта даль всего верней
Сибирь с Москвой сличать учила,
Москву с Сибирью наших дней.

И эти два большие слова,
Чей смысл поистине велик,
На гребне возраста иного,
На рубеже эпохи новой
Я как бы наново постиг.

Сибирь. Москва. Два эти слова
Звучали именем страны,
В значенье дикости суровой
Для мира чуждого равны.

Теперь и в том надменном мире
Все те ж слова: Сибирь — Москва,
Да на ином уже помине
Пошла разучивать молва.

Добро!
Но мы не позабыли,
Какою притчей той молвы
Мы столько лет на свете были
И как нас чествовали вы.

Почти полвека на бумаге
Строчили вы, добра полны,
О том, что босы мы и наги,
И неумелы и темны.

Что не осилить нам разрухи,
Не утеплить своей зимы.
Что родом тюхи да матюхи,
Да простаки,
Да ваньки мы.

И на бумаге и в эфире
Вещали вы, что нам едва ль
Удастся выучить в Сибири
Своих медведей
Делать сталь.

Что в нашей бедности безбрежной —
Не смех ли курам наш почин,
Когда в новинку скрип тележный,
Не то что музыка машин.

И что у нас безвестно слово
Наук, доступных вам давно.
Что нам опричь с о с н ы е л о в о й
Постичь иного не дано.
Что мы — Сибирь...

А мы тем часом
Свою в виду держали даль.

И прогремела грозным гласом
В годину битвы наша сталь.

Она, рожденная в Сибири,
Несла на собственной волне,
Как миру весть о жданном мире,
Победу нашу в той войне.

И каждой каплей нашей крови,
Так щедро пролитой на ней,
И каждым вздохом скорби вдовьей
И горя наших матерей,—
Жестокой памяти страницей —
На том безжалостном торгу —
Она оплачена сторицей,
И мы у мира не в долгу...

...Я повторю, хотя вначале
О том велась как будто речь,
Что в жизни много всяких далей,
Сумей одной не пренебречь.

Такая даль — твое заданье,
Твоя надежда или цель.
И нужды нет всегда за далью
Скакать за тридевять земель.

Они при нас и в нас до гроба —
Ее заветные края.
Хотя со мной вопрос особый,
Как выше высказался я.

С моим заданьем в эти сроки
Я свой в пути копил запас,
И возвращался с полдороги,
И повторял ее не раз.
Нехитрым замыслом влекомый,
Я продвигался тем путем,
И хоть в дороге был, хоть дома —
Я жил в пути и пел о нем.

И пусть до времени безвестно
Мелькнул какой-то и прошел
По краю выемки отвесной
Тайги неровный гребешок;

Какой-то мост пропел мгновенно
На басовой тугой струне,

Какой-то, может, день бесценный
Остался где-то в стороне.

Ничто душой не позабыто
И не завянет на корню,
Чему она была открыта,
Как лучшей молодости дню.

Хоть критик мой, вполне возможно,
Уже решил, пожав плечом,
Что транспорт железнодорожный
Я неудачно предпочел:

Мол, этот способ допотопный
В наш век, что в скоростях, не тот,
Он от задач своих, подобно
Литературе, отстает.

Я утверждаю: всякий способ,
Какой для дела изберешь,
Не только поезд,
Но и посох,
Смотря кому,
А то — хорош!
И впору высшим интересам,
Что зазывают в мир дорог.

А впрочем, авиаэкспрессом
Я и теперь не пренебрег.

Мне этим летом было надо
Застать в разгаре жданный день,
Когда Ангарского каскада
Приспела новая ступень.

И стрелкам времени навстречу
Я устремился к Ангаре,
В Москве оставив поздний вечер
И Братск увидев на заре.

И под крутой скалой Пурсеем,
Как у Иркутска на посту,
В числе почетных ротозеев
В тот день маячил на мосту.

Смотрел, как там, на перемычке,
Другой могучий гидрострой

В июльский день в короткой стычке
Справлялся с Нижней Ангарой...

И, отдавая дань просторным
Краям, что прочила Сибирь,
В наш век нимало не зазорным
Я находил автомобиль.

Так, при оказии попутной,
Я даром дня не потерял,
А завернул в дали иркутской
И в Александровский централ,
Что в песнях каторги прославлен
И на иной совсем поре,
В известном смысле, был поставлен
Едва ль бедней, чем при царе...

Своей оградой капитальной
В глуши таежной обнесен,
Стоял он, памятник печальный
Крутых по-разному времен.

И вот в июльский полдень сонный,
В недвижной тягостной тиши,
Я обошел тот дом казенный,
Не услыхав живой души.

И только в каменной пустыне,
Под низким небом потолков,
Гремели камеры пустые
Безлюдным отзвуком шагов...

Уже указом упраздненный,
Он ждал, казенный этот дом,
Какой-то миссии ученой,
И только сторож был при нем.

Он рад был мне, в глуши тоскуя,
Водил, показывал тюрьму
И вслух высчитывал, какую
Назначат пенсию ему...

Свое угрюмое наследство
Так хоронила ты, Сибирь,

И вспомнил я тебя, друг детства,
И тех годов глухую быль...

Но — дальше.
Слава — самолету,
И вездеходу — мой поклон,
Однако мне еще в охоту
И ты, мой старый друг, вагон.

Без той оснастки идеальной
Я обойтись уже не мог,
Когда махнул в дороге дальней
На Дальний, собственно, Восток.

Мне край земли, где сроду не был,
Лишь знал по книгам, проку нет
Впервые в жизни видеть с неба,
Как будто местности макет.

Нет, мы у столика под тенью,
Что за окном бежит своя,
Поставим с толком наблюденье
За вами, новые края!

Привычным опытом займемся
В другом купе на четверых.
Давно попутчики-знакомцы
Сошли на станциях своих.

Да и вагон другой. Ну что же:
В пути, как в жизни, всякий раз
Есть пассажиры помоложе,
И впору нам, и старше нас...

Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочáта!
Еще туда-сюда Чита,
А завалился за Хабаровск —
Как вдруг земля уже не та.

Другие краски на поверке,
И белый свет уже не тот.
Таежный гребень островерхий
Уже по сердцу не скребнет.

Другая песня —
Краснолесье,—
Не то леса, не то сады.
Поля, просторы — хоть залейся,
Покосы буйны — до беды.

В новинку мне и так-то любы
По заливным долинам рек,
Там-сям в хлебах деревьев купы,
Что здесь не тронул дровосек...

Но край, таким богатством чудный,
Что за окном, красуясь тек,
Лесной, земельный, горнорудный,
Простертый вдоль и поперек,
И он таил в себе подспудный
Уже знакомый мне упрек.

Смотри, читалось в том упреке,
Как изобилен и широк
Не просто край иной, далекий,
А Дальний именно Восток,—
Ты обозрел его с дороги
Всего на двадцать, может, строк.

Слуга балованный народа,
Давно не юноша, поэт,
Из фонда богом данных лет
Ты краю этому и года
Не уделил.
И верно — нет.

А не в ущерб ли звонкой славе
Такой существенный пробел?
Что, скажешь — пропасть всяких дел?..
Нет, но какой мне край не вправе
Пенять, что я его не пел!

Начну считать — собьюсь со счета:
Какими ты наделена,
Моя великая страна,
Краями!
То-то и оно-то,
Что жизнь, по странности, одна...

И не тому ли я упреку
Всем сердцем внял моим, когда
Я в эту бросился дорогу
В послевоенные года.

И пусть виски мои седые
При встрече видит этот край,

Куда добрался я впервые,
Но вы глядите, молодые,
Не прогадайте невзначай
Свой край, далекий или близкий,
Свое призванье, свой успех —
Из-за московской ли прописки
Или иных каких помех...

Не отблеск, отблеском рожденный,—
Ты по себе свой край оставь,
Твоею песней утвержденный,—
Вот славы подлинной устав!

Как этот, в пору новоселья,
Нам край открыли золотой
Ученый друг его Арсеньев
И наш Фадеев молодой.
Заветный край особой славы,
В чьи заповедные места
Из-под Орла, из-под Полтавы
Влеклась народная мечта.

Пусть не мое, а чье-то детство
И чья-то юность в давний срок
Теряли вдруг в порту Одессы
Родную землю из-под ног,

Чтоб в чуждом море пост жестокий
Переселенческий отбыть
И где-то, где-то на востоке
На твердый берег соступить.

Нет, мне не только что из чтенья,
Хоть книг довольно под рукой.
Мне эти памятны виденья
Какой-то памятью другой...

Безвестный край.
Пожитков груда.
Ночлег бездомный.
Плач ребят.
И даль Сибири, что отсюда
Лежит с востока на закат...

И я, с заката прибывая,
Ее отсюда вижу вдруг.

Ага! Ты вот еще какая!
И торопливей сердца стук...

Огни. Гудки.
По пояс в гору,
Как крепость, врезанный вокзал.
И наш над ним приморский город,
Что Ленин нашенским назвал...

Такие разные — и все же,
Как младший брат
И старший брат,
Большим и кровным сходством схожи
Владивосток и Ленинград.

Той службе преданные свято,
Что им досталась на века,
На двух краях материка
Стоят два труженика-брата,
Два наших славных моряка —
Два зримых миру маяка...

Владивосток!
Наверх, на выход.
И — берег! Шляпу с головы
У океана.
— Здравствуй, Тихий!
Поклон от матушки Москвы;
От Волги-матушки — немалой
И по твоим статям реки;
Поклон от батюшки Урала —
Первейшей мастера руки;
Еще, понятно, от Байкала,
Чьи воды древнего провала
По-океански глубоки.
От Ангары и всей Сибири,
Чей на земле в расцвете век,—
От этой дали, этой шири,
Что я недаром пересек.

Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней.
Она отсюда и в пространстве
И в нашем времени видней.

На ней огнем горят отметки,
Что поколенью моему

Светили с первой пятилетки,
Учили смолоду уму...

Все дни и дали в грудь вбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя,
моя,
моя!

На все, что внове
И не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее наготове
Из сердца верного слова.

ТАК ЭТО БЫЛО

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами,—
Иных не знали мы имен.

Гадали, как еще восславить
Его в столице и селе.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле...

Мой друг пастушеского детства
И трудных юношеских дней,
Нам никуда с тобой не деться
От зрелой памяти своей.

Да нам оно и не пристало —
Надеждой тешиться: авось
Уйдет, пройдет — как не бывало
Того, что жизнь прошло насквозь.

Нет, мы с тобой другой породы,—
Минувший день не стал чужим.
Мы знаем те и эти годы
И равно им принадлежим...

Так это было: четверть века
Призывом к бою и труду

Звучало имя человека
Со словом Родина в ряду.

Оно не знало меньшей меры,
Уже вступая в те права,
Что у людей глубокой веры
Имеет имя божества.

И было попросту привычно,
Что он сквозь трубочный дымок
Все в мире видел самолично
И всем заведовал, как бог;
Что простирались эти руки
До всех на свете главных дел —
Всех производств,
Любой науки,
Морских глубин
И звездных тел;

И всех свершений счет несметный
Был предуказан — что к чему;
И даже славою посмертной
Герой обязан был ему...

И те, что рядом шли вначале,
Подполье знали и тюрьму,
И брали власть, и воевали,—
Сходили в тень по одному,
Кто в тень, кто в сон — тот список длинен,—
В разряд досрочных стариков.
Уже не баловал Калинин
Кремлевским чаем ходоков...

А те и вовсе под запретом.
А тех и нет уже давно,
И где каким висеть портретам —
Впредь на века заведено...

Так на земле он жил и правил,
Держа бразды крутой рукой.
И кто при нем его не славил,
Не возносил —
Найдись такой!

Не зря, должно быть, сын востока,
Он до конца являл черты

Своей крутой, своей жестокой
Неправоты.
И правоты.

Но кто из нас годится в судьи —
Решать, кто прав, кто виноват?
О людях речь идет, а люди
Богов не сами ли творят?

Не мы ль, певцы почетной темы,
Мир извещавшие спроста,
Что и о нем самом поэмы
Нам лично он вложил в уста.
Не те ли все, что в чинном зале,
И рта открыть ему не дав,
Уже вставая, восклицали:
— Ура! Он снова будет прав...

Что ж, если опыт вышел боком,
Кому пенять, что он таков?
Великий Ленин не был богом
И не учил творить богов.

Кому пенять! Страна, держава
В суровых буднях трудовых
Ту славу имени держала
На вышках строек мировых.

И русских воинов отвага
Ее от волжских берегов
Несла до черных стен рейхстага
На жарком темени стволов...

Мой сверстник, друг и однокашник,
Что был мальчонкой в Октябре,
Товарищ юности не зряшной,
С кем рядом шли в одной поре,—
Не мы ль, сыны на подвиг дерзкий,
На жертвы призванной земли,
То имя-знамя в нашем сердце
По пятилеткам пронесли?

И знали мы в трудах похода,
Что были знамени верны
Не мы одни.
Но цвет народа,
Но честь и разум всей страны.

Мы звали — станем ли лукавить? —
Его отцом в стране-семье.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Так это было на земле.

То был отец, чье только слово,
Чьей только брови малый знак —
Закон.
Исполни долг суровый —
И что не так,
Скажи, что так...

О том не пели наши оды,
Что в час лихой, закон презрев,
Он мог на целые народы
Обрушить свой верховный гнев...

А что́ подчас такие бури
Судьбе одной могли послать,
Во всей доподлинной натуре —
Тебе об этом лучше знать.

Но в испытаньях нашей доли
Была, однако, дорога
Та непреклонность отчей воли,
С какою мы на ратном поле
В час горький встретили врага...

И под Москвой, и на Урале —
В труде, лишеньях и борьбе —
Мы этой воле доверяли
Никак не меньше, чем себе.

Мы с нею шли, чтоб мир избавить,
Чтоб жизнь от смерти отстоять.
Тут ни убавить,
Ни прибавить, —
Ты помнишь все, отчизна-мать.

Ему, кто все, казалось, ведал,
Наметив курс грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам...

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,

Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Недосчиталась ты, рыдая,
Под гром победных батарей...

Салют!
И снова пятилетка.
И все тесней лучам в венце.
Уже и сам себя нередко
Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлевской,
И в новом блеске древних зал
Он сам от плоти стариковской
Себя отдельно созерцал.

Уже в веках свое величье,
Что весь наш хор сулил ему,
Меж прочих дел, хотелось лично
При жизни видеть самому.

Спешил.
И все, казалось, мало.
Уже сомкнулся с Волгой Дон,
Канала
Только не хватало,
Чтоб с Марса был бы виден он!..

И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —
Не́ в дальних далях,— наш смоленский,
Забытый им и богом,
Женский,
Послевоенный вдовий край.

Где занесло следы поземкой
И в селах душам куцый счет,
А мать-кормилица с котомкой
В Москву за песнями бредет...

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой.

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней,
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью — не полней;

С ее дурным озимым клином
На этих сотках под окном;
И на печи ее овином,
И середи избы гумном;

И ступой — мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой нынешней бедой.

Но и у самого предела
Тоски, не высказанной вслух,
Сама с собой — и то не смела
Душа ступить за некий круг.

То был рубеж запретной зоны,
Куда для смертных вход закрыт,
Где стража зоркости бессонной
У проходных вросла в гранит...

И видя жизни этой вечер,
Помыслить даже кто бы смог,
Что и в Кремле никто не вечен
И что всему выходит срок...

Но не ударила царь-пушка,
Не взвыл царь-колокол в ночи,
Как в час урочный та Старушка
Подобрала свои ключи —
Ко всем дверям, замкам, запорам,
Не зацепив лихих звонков,
И по кремлевским коридорам
Прошла к нему без пропусков.

Вступила в комнату без стука,
Едва заметный знак дала —
И удалилась прочь наука,
Старушке этой сдав дела...

Сломилась ночь, в окне синея
Из-под задернутых гардин.
И он один остался с нею,

Один —
Со Смертью — на один...

Вот так, а может, как иначе —
Для нас, для мира не простой,
Тот день настал,
Черту означил,
И мы давно за той чертой...

Как говорят, отца родного
Не проводил в последний путь,
Еще ты вроде молодого,
Хоть борода ползи на грудь.

Еще в виду отцовский разум,
И власть, и опыт многих лет...
Но вот уйдет отец — и разом
Твоей той молодости нет...

Так мы не в присказке, на деле,
Когда судьба тряхнула нас,
Мы все как будто постарели —
Нет, повзрослели — в этот час.

Безмолвным строем в день утраты
Вступали мы в Колонный зал,
Тот самый зал, где он когда-то
У гроба Ленина стоял.

Стоял поникший и спокойный
С рукою правой на груди.
А эти годы, стройки, войны —
Все это было впереди;

Все эти даты, вехи, сроки,
Что нашу метили судьбу,
И этот день, такой далекий,
Как видеть нам его в гробу.

В минуты памятные эти —
На тризне грозного отца —
Мы стали полностью в ответе
За все на свете —
До конца.

И не сробели на дороге,
Минуя трудный поворот,

Что нынче люди, а не боги
Смотреть назначены вперед.

Там — хороши они иль плохи —
Покажет дело впереди,
А ей, на всем ходу, эпохе,
Уже не скажешь: «Погоди!»
Не вступишь с нею в словопренья,
Когда гремит путем своим...

Не останавливалось время,
Лишь становилося иным.

Земля живая зеленела,
Все в рост гнала, чему расти.
Творил свое большое дело
Народ на избранном пути.
Страну от края и до края,
Судьбу свою, судьбу детей
Не божеству уже вверяя,
А только собственной своей
Хозяйской мудрости.

Должно быть,
В дела по-новому вступил
Его, народа, зрелый опыт
И вместе юношеский пыл.

Они как будто из-под спуда
Возникли — новый брать редут...
И что же — чудо иль не чудо,—
Дела идут не так уж худо —
И друг и недруг признают.

А если кто какой деталью
Смущен, так правде не во вред
Давайте спросим тетку Дарью —
Всего ценней ее ответ...

Но молвить к слову: на Днепре ли,
На Ангаре ль — в любых местах —
Я отмечал: народ добрее,
С самим собою мягче стал;

Я рад бывал, как доброй вести,
Как знаку жданных перемен,

И шутке нынешней и песне,
Что дням минувшим не в пример.

Ах, песня в поле,— в самом деле
Ее не слышал я давно,
Уже казалось мне, что пели
Ее лишь где-нибудь в кино,—

Как вдруг он с дальнего покоса
Возник в тиши вечеровой,
Воскресшей песни отголосок,
На нашей родине с тобой.

И на дороге, в темном поле,
Внезапно за душу схватив,
Мне грудь стеснил до сладкой боли
Тот грустный будто бы мотив...

Я эти малые приметы
Сравнил бы смело с целиной
И дерзким росчерком ракеты,
Что нынче встретилась с Луной...

За годом — год, за вехой — веха.
За полосою — полоса.
Нелегок путь.
                    Но ветер века —
Он в наши дует паруса.

Вступает правды власть святая
В свои могучие права,
Живет на свете, облетая
Материки и острова.

Она все подлинней и шире
В чреде земных надежд и гроз.
Мы — это мы сегодня в мире,
И в мире с нас
Не меньше спрос!

И высших нет для нас велений —
Одно начертано огнем:
В большом и малом быть как Ленин,
Свой ясный разум видеть в нем.

С ним сердцу нечего страшиться,
И в нашей книге золотой

Нет ни одной такой страницы,
Ни строчки, даже запятой,
Чтоб нашу славу притемнила,
Чтоб заслонила нашу честь.

Да, все, что с нами было,—
Было!
А то, что есть,—
То с нами здесь!

И все от корки и до корки,
Что в книгу вписано вчера,
Все с нами — в силу поговорки
Насчет пера
И топора...

И правда дел — она на страже,
Ее никак не обойдешь,
Все налицо при ней — и даже,
Когда умалчиванье — ложь...

Кому другому, но поэту
Молчать потомки не дадут,
Его к суровому ответу
Особый вытребует суд.

Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай не мне еще то слово,
Что ёмче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.
Нет выше долга, жарче страсти
Стоять на том
В труде любом!

Спасибо, Родина, за счастье
С тобою быть в пути твоем.

За новым трудным перевалом —
Вздохнуть
С тобою заодно.
И дальше в путь —
Большим иль малым,

Ах, самым малым —
Все равно:
Она моя — твоя победа,
Она моя — твоя печаль,
Как твой призыв:
Со мною следуй,
И обретай в пути,
И ведай
За далью — даль.
За далью — даль!

ДО НОВОЙ ДАЛИ

Пора!
Я словом этим начал
Мою дорожную тетрадь.
Теперь оно звучит иначе:
Пора и честь, пожалуй знать.

Ах, эти длительные дали,
Дались они тебе спроста.
Читали — да. Но ждать устали:
Когда ж последняя верста.

А сколько дел, событий, судеб,
Людских печалей и побед
Вместилось в эти десять суток,
Что обратились в десять лет!

Все верно: в сроках не потрафил,
Но я прошу высокий суд
Учесть, что мне особый график
Составлен был на весь маршрут.

И что касается охвата
Всего, что в памяти любой,—
Суди по правде, как солдата,
Что честно долг исполнил свой.

Он воевал не славы ради.
Рубеж не взял? И сам живой?
Не представляй его к награде,
Но знай — ему и завтра в бой.

А что в пути минули сроки —
И в том вины особой нет.

Мои герои все в дороге,
Да ты и сам не домосед.

Ты сам, читатель, эти дали
В пути проверил и постиг,
В своем бывалом чемодане
Держа порой и мой дневник.

Душа моя принять готова
Другой взыскательный упрек,
Что ткань бедна: редка основа,
Неровен бедный мой уток.

Что, может быть, не ярки краски
И не заманчив общий тон;
Что ни завязки,
Ни развязки —
Ни поначалу, ни потом...

Ах, сам любитель я, не скрою,
Чтоб с места ясен был вопрос —
С приезда главного героя
На новостройку иль в колхоз,
Где непорядков тьма и бездна,
Но прибыл с ним переворот.
И героиня в час приезда
Стоит случайно у ворот.

Он холост, или же в разводе,
Или с войны еще вдовец,
Или от злой жены беглец,
Иль академик-молодец,
И все, что надо, — на подходе,
Хоть не заглядывай в конец.

Но сам лишен я этой хватки:
И совесть есть, и лень, прости,
В таком развернутом порядке
Плетень художества плести.

А потому и в книге этой —
Признаться, правды не тая,—
Того-другого — званья нету,
Всего героев —
ты, да я,
Да мы с тобой.

Так песня спелась.
Но, может, в ней отозвались
Хоть как-нибудь наш труд, и мысль,
И наша молодость, и зрелость,
И эта даль,
И эта близь?

Что горько мне, что тяжко было
И что внушало прибыль сил,
С чем жизнь справляться торопила,—
Я все сюда и заносил.

И неизменно в эту пору,
При всех изгибах бытия,
Я находил в тебе опору,
Мой друг и высший судия.

Я так обязан той подмоге
Великой — что там ни толкуй,—
Но и тебя не прочу в боги,
Лепить не буду новый культ.

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже — всякий на поверку,
Бываешь — мало ли какой.

Да, ты и лучший друг надежный,
Наставник строгий и отец.
Но ты и льстец неосторожный,
И вредный, к случаю, квасец.

И крайним слабостям потатчик,
И на расправу больно скор.
И сам начетчик
И цитатчик,
И не судья,
А прокурор.

Беда бедой твой пыл бессонный,
Когда вдобавок ко всему
Еще и книжкой пенсионной
Ты обладаешь на дому.

Не одному бюро погоды
Спешишь ты всыпать поскорей.
Хоть на почтовые расходы
Идет полпенсии твоей.

Добра желаючи поэту,
Наставить пробуя меня,
Ты пишешь письма в «Литгазету»,
Для «Правды» копии храня...

И то не все. Замечу кстати:
Опасней нет болезни той,
Когда по скромности, читатель,
Ты про себя в душе,— писатель,
Безвестный миру Лев Толстой.

Ох, вы, мол, тоже мне, писаки,
Вот недосуг за стол засеть...

Да, и такой ты есть и всякий,
Но счастлив я, что ты, брат, есть!
Не запропал, не стал дитятей,
Что наша маменька-печать
Ласкает, тешась:
— Ах, читатель,
Ах, как ты вырос — не достать!

Сама пасет тебя тревожно
(И уморить могла б любя):
— Ах, то-то нужно, то-то можно,
А то-то вредно для тебя...

Ты жив-здоров — и слава богу,
И уговор не на словах:
В любую дальнюю дорогу
На равных следовать правах...

Ты помнишь, я свой план невинный
Представил с первого столбца:
Прочти хотя б до половины,
Авось прочтешь и до конца.

Прочел по совести. И что же:
Ты книгу медленно закрыл,
Вздохнул, задумался, похоже.
Ну вот. А что я говорил?

Прости, что шутка на помине,
Когда всерьез не передать,
Как нелегко и эту ныне
Мне покидать свою тетрадь.

Не то чтоб жаль, но как-то дико,
Хоть этот миг —
Желанный миг:
Была тетрадь — и стала книга
И унеслась дорогой книг.

Уже не кинешься вдогонку
За ней во все ее края...
Так дочка дома — все девчонка,
Вдруг — дочь.
Твоя и не твоя.

Скорбеть о том не много проку,
Что низок детям отчий кров.
Иное дело, с чем в дорогу
Ты проводил родную кровь.

И мне уже не возвратиться
Назад, в покинутый предел,
К моей строке или странице,
Что лучше б мог, как говорится,
Да не сумел.
Иль не посмел.

Тем преимуществом особым
При жизни автор наделен:
Все слышит сам, но, как за гробом,
Уже сказать не может он,
Какой бы ни был суд нелестный...
Но если вправду он живой,
Он в новый замысел безвестный
Уже уходит с головой.

И, распростившись с этой далью,
Что подружила нас в пути,
По счастью, к новому свиданью
Уже готовлюсь я. Учти!

Конца пути мы вместе ждали,
Но прохлаждаться недосуг.
Итак, прощай.
До новой дали.
До скорой встречи,
Старый друг!

1950—1960

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭМЫ МУЖЕСТВА

Редактор Л. П. Шевченко. Художник Леонид Летов. Художественный редактор Л. А. Клочков. Технический редактор Г. Я. Баклыкова. Корректор З. П. Моисеева. Сдано в набор 16/VII. 1974 г. Подписано в печать 6/IX 1974 г. Формат 84 x $108^1/_{32}$. Усл. печ. л. 15,54. Уч. изд.. л. 16,49. Бумага № 3. Цена 1 р. 78 к. Тираж 125 000 экз. Заказ № 11890. Центрально-Черноземное книжное издательство, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34. Типография изд-ва «Коммуна», г. Воронеж, пр. Революции, 39.

1 р. 78 к.